

Владимир
Шаров

Будьте как дети

Роман

Шорт-лист премии

РУССКИЙ
БУКЕР

18+



Новая русская классика

Владимир Шаров

Будьте как дети

«АСТ»

2017

УДК 821.161.1-31
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

Шаров В. А.

Будьте как дети / В. А. Шаров — «АСТ», 2017 — (Новая русская классика)

ISBN 978-5-17-100225-1

Владимир Шаров – писатель, под пером которого российская история приобретает совершенно фантастические черты. Провоцировать читателя, загадывать ему загадки, тем самым вовлекая в необыкновенное действо, – его манера. В романе «Будьте как дети» Владимир Шаров пишет о событиях 1917 года, используя евангельскую притчу, и перед читателем проходят отряды беспризорников со всех концов России, маленький северный народ энцы, разбойники-душегубы, священники и шаманы, юродивые и блудницы, Ленин, жить которому осталось недолго. Все они идут в крестовый поход за светлым будущим, правда, каждый представляет его себе по-разному...

УДК 821.161.1-31
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-17-100225-1

© Шаров В. А., 2017
© АСТ, 2017

Владимир Шаров

Будьте как дети

© Шаров В. А.

© ООО «Издательство АСТ»

* * *

Памяти отца

В сентябре четырнадцатого года, когда наше наступление в Восточной Пруссии окончательно захлебнулось, Ставка Верховного командующего, не задумываясь, ввела в бой резервы. Были нанесены три контрудара. Основной – в Петрограде, Москве и прочих губернских городах: там толпы побили витрины сотен магазинов «Фрицев», «Гансов» и «Людвигов» и торжествовали победу – везде владельцы повывешивали таблички, где кириллицей крупными буквами было написано: «Извините, здесь не говорят по-немецки». И два вспомогательных фланговых, оба силами императорского Мариинского театра: в пятнадцатом году с его сцены разом исчезли воспевающие немецкий дух оперы Вагнера; кроме того, в знак солидарности с недавно оккупированной германцем Варшавой, там же, в Мариинке, дирекция внесла изменения в финал «Ивана Сусанина». Чтобы снять лишние вопросы, несчастных поляков теперь никто и никак не губил, они приняли смерть сами по себе – просто от мороза.

Вагнера заменили сочинения Римского-Корсакова: «Садко» и несколько позже – «Невидимый град Китеж». Первую постановку публика встретила восторженно. Зал был переполнен, певшему заглавную партию Давыдову стоя кричали «браво» больше получаса. Еще важнее другое – обласканные верховной властью купцы и промышленники уже к концу пятнадцатого года удвоили выпуск гаубиц, а количество снарядов, полученных армией, увеличилось вчетверо. В результате весной шестнадцатого года линия фронта стабилизировалась, бои приняли затяжной, позиционный характер.

Сложнее оценить постановку «Китежа». Возможно, спектакль вышел неудачный, или тоскливый перезвон колоколов ушедших на дно озера Светлояр церковей вообще не был способен поднять пехоту в атаку. Во всяком случае, прослышав, что Святой град дано узреть лишь праведникам, что воды расступятся и он в прежнем великолепии всплывет из пучины прямо перед приходом Спасителя, солдаты раскаялись в грехах и, по донесениям командующих фронтами, весной-летом семнадцатого года, целыми армиями стали покидать позиции, уходить на его поиски.

В двадцать втором году, то есть пятью годами позднее, в Париж из эвакуированного Крыма через Геллиполи стали прибывать тысячи и тысячи беженцев – всё больше военные: офицеры, казаки. Уже было известно, что сотни их товарищей заживо утоплены красными на Кавказе, вблизи Туапсе, и в Крыму, севернее Судака. По-видимому, в помин душ убитых Дягилев тогда же, в рамках Русских сезонов в Париже, на сцене Гранд Опера заново поставил «Град Китеж» в декорациях покойного Чюрлениса, сразу сделавшегося знаменитым. Задник – его обычные холсты зеленоватого цвета с какими-то водорослями, тростником, а поверх – чередующиеся, перебегающие полосы и струи чуть более светлого колера. Вдали через ту же мутно-зеленую пелену видны крепостные стены, а над ними – золотые купола и башни прекрасного города.

Иллюзия, что всё действие разворачивается под водой, полная. На фоне левой половины декорации длинная-длинная колонна офицеров. К ногам каждого веревкой привязаны большие камни или железяки. Этот их смертный груз тихо и ровно лежит на дне, но сами офицеры,

поддерживаемые водой, как и должно, стоят во весь рост. Фигуры живые. Течение легонько колышет тела, будто ветром треплет волосы. Такое ощущение, что они и впрямь, как привыкли за семь лет войны, походным строем маршируют к стенам покоящегося на глубине Китежа.

.....

Двадцать пятого января 1970 года не стало Сашеньки. И сама эта смерть четырехлетней девочки, и то, что было с ней связано, поразило каждого знавшего ее семью. Родители ребенка – Ваня Звягинцев и Ирина Чусовая – были моими друзьями детства. Обвенчались они еще на студенческой скамье, едва Ирине исполнилось восемнадцать; Ваня был на два года старше, но что когда вырастут, будут жить вместе, они, по-моему, знали всегда. Брак вышел удачный. В Библии сказано: жена да прилепится к мужу, и станут они как одно. У Вани и Ирины так и получилось. На взгляд со стороны, в их отношениях не было экзальтации, не было и особой страсти, просто они всё время были друг другу необходимы, каждую минуту друг о друге помнили, друг в друге нуждались.

Жили они небогато, сначала на студенческие стипендии плюс небольшие суммы, которые подкидывали родители, позже были м.н.с. в институтах, тем не менее домой Ваня каждый день приходил с цветами. В общем, любовь, которая встречается лишь в женских романах. И как в тех же романах, печалило их одно: почти пять лет Ирина не могла родить. Беременела она легко, но дальше, хоть сразу и ложилась на сохранение, выкидывала. В двадцать три, после паломничества в Печерский монастырь, она наконец выносила, и ребенок, девочка, оказался сущим чудом.

В три месяца, когда дети еще боятся чужих, Сашенька всем улыбалась, ко всем тянула ручки. От нее будто и впрямь исходил свет, любой рядом с ней, словно иначе и быть не могло, начинал радоваться, улыбался, веселел. На похоронах никто и припомнить не смог, чтобы видел ее недовольной; бывало, конечно, что она печалилась, но никогда и ни на кого не сердилась. За месяц до смерти Саша заболела корью, следом пошли осложнения. Четыре дня температура держалась под сорок, и два врача – оба из наших близких друзей – говорили, что ребенок очень слаб, ручаться ни за что нельзя. Особенно плохо было в последнюю ночь: ни на какие лекарства, уколы девочка уже не реагировала, часами была без сознания. Пульс нитевидный, почти неслышное дыхание, пару раз ей к губам даже прикладывали зеркальце: думали, она умерла.

Вечером, накануне этой ночи, когда положение еще не казалось безнадежным, Дуся, известная в Москве юрודивая, проходя заметила врачам: «Нечего без толку мельтешить, я уже выпросила ей смерть». И Ирине: «Сейчас она чистый ангел, умрет – сподобится Рая небесного, а дай вырасти – греха будет столько, что никакие молитвы не помогут». Но в истерике, которая была, на слова Дуси никто не обратил внимания. Когда врачи сказали, что больше ничем помочь не в силах, мать взяла Сашеньку на руки, прижала, стала гладить, целовать, и девочка снова задышала. К утру температура вдруг спала, и сделалось ясно, что кризис миновал. Дальше, если Бог захочет, она пойдет на поправку.

Сашенька, благо после той ночи мать ни на минуту не спускала ее с рук, приходила в себя буквально на глазах. Однако на третий день температура ни с того ни с сего снова поднялась. Рецидива никто не ждал, и сделать ничего не успели. Болезнь сразу перекинулась на мозг, девочка сгорела буквально за сутки. Всё это до такой степени было страшно и несправедливо, что и сейчас, через четверть века, мало что смягчилось.

Потом были похороны. Хоронили на Востряковском кладбище, где у Звягинцевых был свой участок. Отец Сашеньки, Ваня, еще держался, а мать была черная, опухшая от слез. Идти сама она не могла: две подруги, взяв под руки, фактически ее несли. Когда гроб уже должны были опустить в могилу, Ирина против обычая попросила последний раз снять крышку. Ее

послушались. Пришедших проститься была чуть не сотня человек. Перед ними на атласной подушке вне всяких сомнений лежал ангел, только, вопреки природе, умерший. По-моему, те, кто был, тогда просто испугались класть Сашеньку в землю и, не зная, как всё остановить, один за другим стали говорить о ней будто о живой.

Рабочие с веревками и лопатами стояли поодаль, но скоро им надоело ждать, и, показывая, чтобы с похоронами поторопились, они подошли ближе. Может быть, так получилось случайно, но впереди шла Дуся. Человек святой жизни, она была большая молитвословица, и я подумал, что Дуся найдет слова, которые хоть как-то примирят нас с Сашенькиной смертью. Это было необходимо и Звягинцевым, и остальным. Но сказано было следующее: плакать нечего, она, Дуся, отпела девочку еще четыре дня назад, и тогда же Сашенька должна была отдать Богу душу. Однако на первый раз матери удалось отмотить, выпросить ее у Господа. А зря. Оставь Боженка ей жизнь – девочка превратилась бы в исчадие ада, многих бы погубила, ввела в грех и соблазн. Потому она, Дуся, и вмешалась. Пока Сашенька не совершила ничего предосудительного, ее ждут спасение и вечная жизнь, иначе же гореть в геенне огненной. И – словно кость – бросила Ирине: что матери невинных детей после смерти пребывают с ними в одном месте.

Сказанное на кладбище всех поразило, но не меньше меня потрясло, что Ваня и Ирина, родители девочки, которую она фактически убила, не порвали с Дусей отношения, наоборот, сошлись с юродивой еще теснее. Почти год Дуся дневала у них и ночевала. Звягинцевы и раньше держались с ней благоговейно, теперь же и вовсе лебезили, едва ли не пресмыкались, будто раз она сумела вымолить у Господа смерть Сашеньки, сумеет вымолить и ее воскрешение. Говорили, что они даже молятся вместе, вслед за юродивой благодарят Господа, что он забрал их единственную дочь, не дал ей вырасти и стать орудием в руках дьявола. Не знаю, так это было или не так, но однажды я понял, что не могу больше видеть, как они целуют ей руки, беспрестанно причитают: Дусенька, милая Дусенька. Мои родители тоже продолжали с Дусей общаться, а я, когда знал, что она должна появиться у нас дома, заранее уходил. Потом на Молчановке у меня появилась своя комната, и, наверное, лет семь я Дусю вообще не встречал. Кое-какие отношения возобновились лишь после гибели ее сына Сережи, которого я с детства очень любил и которому многим был обязан.

После смерти дочки Ирина начала попивать. Иногда она будто приходила в себя, говорила, что должна родить другого ребенка, это дело решенное, иначе ей не выкарабкаться, но тут же снова слетала с катушек. Впрочем, могла ли она иметь еще детей (предыдущие роды были очень тяжелые), хотела ли их, – я не знаю. В моем присутствии одна из ее подруг как-то сказала своей матери, что со дня похорон Сашеньки мужа она к себе не подпускает.

Странный треугольник из Дуси и Звягинцевых продержался чуть больше года. Потом Ваня уехал в Белоярск, где наши продолжали строить первую ядерную электростанцию (он был хороший физик-экспериментатор), Ирина же еще до его отъезда пустилась во все тяжкие. Кажется, чего-то похожего ждали. Вслед за отъездом Вани перестала у них бывать и Дуся.

Иринин разврат был страшен тем, что никакого удовольствия не приносил, даже не помогал забыться. Природа создала ее целомудренной, и, став Ваниной женой, никем, кроме него, интересоваться она не умела. Ирина была хороша собой, но безразличие к другим мужчинам было настолько прочно, что до Сашиной смерти за ней никто и не пытался ухаживать. Думаю, у ее блядства была цель. Она считала, что так, ценой собственного спасения, докажет Господу, что Он не должен был забирать у нее Сашеньку. Что без ее дочки мир не стал лучше, наоборот, зла сделалось больше.

Она и вправду за три года неведомо зачем разбила полтора десятка семей. Сходилась с одним, с другим, меняя, тасуя партнеров, с некоторыми жила неделю, у кого-то задерживалась и на полгода, но всех рано или поздно бросала. Позже, когда уже пила по-крупному, любила говорить, что утром первым делом не зубы чистит, а любопытствует, с кем на сей раз провела

ночь. И всё же, сколько Ирина ни гуляла, сколько ни пыталась изображать шлюху, она ни у кого ничему не обучилась. И, проблядовав десять лет, осталась в сущности прежней – христианской женой, для которой у постели одно оправдание – зачатие.

Я не знаю, что для нас делало ее столь желанной. Кто-то, наверное, надеялся разбудить Ирину чувственность, что бы там ни было, стать у нее первым, других манила ее красота, но мы равно терпели неудачу. И так получалось, что разрыв с ней никому с рук легко не сошел. Не я один доживал жизнь, зная, что Ирина была в ней главной женщиной, и эта женщина никогда меня не любила, лишь использовала в споре с Богом. Для Дусяного же сына Сережи дело обернулось и того хуже.

По свидетельству Дуся, ее духовник, епископ Амвросий, в двадцать шестом году, незадолго перед своим новым арестом, в разговоре заметил, что все мы запутались в двух соседних стихах Евангелия от Матфея: «И сказал: истинно говорю вам, если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное» (18:3), и другом: «А кто соблазнит одного из малых сих, верующих в Меня, тому лучше было бы, если бы повесили ему мельничный жернов на шею и потопили его во глубине морской» (18:6).

Впервые я решил, что должен обо всем написать – в Салехарде, почти тридцать лет назад. Саша еще была жива, мир был обычный, не лучше и не хуже, во всяком случае, людей, которых я ни при каких условиях не готов был простить, в нем не было. Зла вокруг, конечно, было пруд пруди, но было и добро, в общем, поднатужась, концы с концами свести удавалось. К тому же после пяти сезонов на Севере я уже кое-что знал и умел. Получается, что в моей жизни это вроде водораздела. Отсюда неплохо просматривался прежний путь, и разглядеть, куда я направляюсь, тоже казалось нетрудным. Дальше дорога должна была идти под уклон, но я на сей счет не печалился.

В Заполярье конец июня, что ни говори, – вещь. Солнце жарит сутки напролет, о ночи все и думать забыли. Со студенческих лет я очень люблю «поле», но сейчас с ним полный абзац. Самоходная баржа, которая везла из Тюмени скарб двух десятков экспедиций, в том числе и нашей, умудрилась наскочить на камень и благополучно затонула. Денег, что нам теперь раздают, хватает на хлеб да на плавленные сырки, о выпивке мы даже не мечтаем. Слава богу, пока хоть не гонят из гостиницы, но сколько продлится благотворительность, никто не знает.

Правда, на номер жаловаться грех. Единственный сосед-нефтяник только ночует, а так я один и свободен, как птица. Времени навалом, на этом солнце, сколько ни зашторивай окна, больше пяти часов не проспишь, да и днем теребить тебя некому. Без дела и без денег мы перессорились в первую же неделю и теперь на глаза друг другу лишний раз стараемся не попадаться. Думая, чем себя занять, я на третий день вспомнил об одной давней идее – вместе с обстоятельствами, касающимися лично меня, пересказать собранный не здесь, а в Восточной Сибири, на Лене, цикл поздних энцских преданий. Тут нет грамматической ошибки, нет и игры слов: энцы – небольшой северный народ в пару сотен душ. Когда-то их было несколько тысяч, но от оспы, туберкулеза, сифилиса, прочих европейских подарков, главное же, от водки они вымирали и вымирают целыми стойбищами.

Вдобавок перед войной те, кто жил на Севере, полностью обнищали. В Москве какая-то умная голова сообразила, что самодийцы ничуть не лучше других, и энцев было велено раскулачить. В результате от огромных оленьих стад, с которыми они веками кочевали по тундре, на чум не осталось и десятка голов. У большинства же нет и этого. Наверное, человек пятьдесят, а то и шестьдесят их соплеменников осело сейчас на окраине Тикси, сразу за портовыми складами. Ютятся они в сколоченных из ящиков хибарах. Часть побирается, остальные пристроились что-нибудь сторожить. На другие работы никого не берут.

Даже тем, кто получает зарплату, кормить ребят нечем, и женщины, едва встав на ноги после родов, идут и сдают детей в ясли. Из-за повального пьянства, грязи чуть не треть мла-

денцев серьезно больна. В интернате о воспитанниках, конечно, заботятся, кормят, лечат, учат, но, выйдя оттуда, ни языка, ни своих обычаев молодые энцы уже не знают.

Цикл, о котором я веду речь, стал складываться не раньше второй половины XIX века и, в сущности, никого никогда не занимал. Всех нас учили, что чем древнее, тем лучше, и эту печать не смоешь. Ясно, что вошедшие в него предания я собирал просто так, для себя, вне каких-либо заданий и планов. Главный герой их Евлампий Христофорович Перегудов – энцкий апостол Павел. Заинтересовался я им вот почему. В мои десять лет отец всю зиму – если, конечно, ему случалось быть дома, когда меня и сестру загоняли в постели, – читал нам американские легенды и сказки. Толстый том, изданный, кажется, в середине двадцатых годов. С одной стороны, сказки были самые обычные, то есть можно было не бояться, что какая-нибудь история кончится плохо, и в то же время люди в них ездили не на печи, а по железной дороге, в вагонах с паровозами, и отправляли друг другу не голубей с записками, а телеграммы. Плохие бандиты – те же разбойники со «смит и vessонами» в руках – грабили не по-сказочному звучащий банк, но тут, на их беду, появлялись хорошие парни – шерифы, и после короткой перестрелки добро торжествовало – преступники оказывались или на кладбище, или за решеткой.

Это сосуществование вещей и понимания мира из совсем разных эпох я раньше не встречал, и оно приводило меня в восторг. Вдобавок в примечаниях – они нам тоже зачитывались – утверждалось, что речь идет о конкретных людях, известно, когда они родились, где жили и как умерли. Сам отец получал от преданий Нового Света не меньшее удовольствие, чем я, выбивалась только сестра, иногда робко просившая, чтобы сегодня взяли что-нибудь вроде «Собора Парижской Богоматери». Очевидно, американский фольклор в меня тогда крепко запал, потому что, столкнувшись на Севере с чем-то подобным, я соблазнился не колеблясь.

Был и еще один стимул. Первое предание энцев я записал на четвертом курсе университета, поехав в Якутию вместе с этнографической партией. Та практика не только определила мои будущие интересы – Север от Урала до Чукотки и Охотского моря и здешние малые народы, – благодаря ей я стал мягче смотреть на одну медицинскую проблему, к которой прежде не мог приноровиться. Ситуация была серьезной, я уже успел поставить на себе крест, больница, в которой провалялся год, если что и изменила, то не принципиально. А тут оказалось, что торопиться не стоит, что моя болезнь, может быть, вообще не проклятие, не приговор, и то, что было до нее, и она сама – всё не зря, не попусту, наоборот: мне дана отмычка, без которой ничего не поймешь.

Конечно, в подобных вещах быстро мало что бывает. Должна была пройти куча времени, и в куче вещей я должен был разобраться, чтобы, лежа на койке салехардской гостиницы, взяться за эту работу. Сейчас, задним числом, мне ясно, что во взрослой жизни та неудачная экспедиция шестьдесят восьмого года – месяц и десять дней, пока нас после нескончаемых переговоров не отправили обратно в Москву, – была не худшим временем, с тех пор я, пожалуй, без трепета смотрел в будущее.

Сознаю, что в истории, которая пойдет ниже, слишком много линий. Путанные, рваные, они переплелись в такой клубок, что мне долго не удавалось найти ниточку, за которую следует тянуть. Еще набрасывая план, я понимал, что проблемы есть даже с датами. Не меньше сбивала и неровность хода. Несколько лет всё тихо, будто под спудом, дальше – форменная свистопляска, потом пар выпущен, и снова тишина. В итоге хоть в голове я ухватывал суть довольно легко, дело скоро стопорилось. Иногда мне казалось, что, чтобы это повязать на бумаге, нужен чекист из тех, кто готовил процессы тридцатых годов.

То ли для разгона, то ли для того, чтобы доказать себе, что запретных тем нет, я начал с вещей, говорить о которых раньше вряд ли бы решился. Писавшееся в шестьдесят восьмом году в Салехарде, а следом еще осенью в Москве, в декабре по ряду причин пришлось отложить. Если не считать небольшого перерыва, – почти на семнадцать лет. Когда я вернулся к этим запискам, тон первых двадцати страниц покорибил. Юношеская смесь куража и робости

по прошествии времени привлекает мало. Впрочем, разницы нет: в куске, что идет дальше, всё равно ничего не тронут.

«На собственном опыте убедился, что когда ты в центре событий – свидетель из тебя никакой. Чужие эпилептические припадки я, конечно, видел, но они были с аурой, то есть человеку давался знак, что вот, сейчас начнется, и он, даже если это было за мгновение, успевал лечь: была кровать – на кровать, нет – просто на пол, а дальше, сколько бы тебя ни колбасило, сильно не расшибешься. Меня же никто никогда не предупреждает, соответственно, и получаю я по полной программе.

Происходящее ведомо мне только со слов родных, но тема эта не из любимых, и в подробностях они сдержанны. Правда, я знаю, что первым делом грубо, резко кричу – судорога уже свела связки и в голосе человеческого немного, мать однажды сказала, что похоже, будто заводской гудок взяли за горло. Во время припадка сил во мне – как у буйнопомешанного. И вот я ору и тут же, словно шуруп, пытаюсь вернуться в то, на чем стою. Резьба правая, потому что повреждена у меня левая часть головы и всё начинается там. Кто его ведает, чего я хочу: может, мечтаю о смиренной рубашке, о том, чтобы меня сжало, схватило, причем без люфта – намертво. Но или пол из камня, или отвертка никуда не годится, и я с минуту еложу, как танцор, шаркаю без толку, пока не раскручусь, не наберу наконец скорость. Скорость – замечательная штука, она вышибает страх, и мне, и самолету она нужна, чтобы оторваться от земли, чтобы пусть метр, но лететь. Дальше снова скучно – тебя кидает в ту же сторону, куда крутило, и прежде чем упадешь, и потом, когда уже упадешь, бьет, колотит безо всякой жалости.

Припадок длится минут пятнадцать-двадцать (по классификации такие называются большими, или генеральными), затем еще несколько часов я лежу измудоханный, весь в крови и с языком, будто жеваная бумага. Просыпаюсь, снова засыпаю. Сознание возвращается, уходит опять, но ничего не болит. Обычно лишь к следующему утру я приду в себя, начну подсчет проторей и убытков. Раны я оглядываю со смирением и с тем же смирением знаю, что раньше, чем через полтора-два месяца, не оклемаюсь. Если ничего не сломано, больше другого болит язык – по-человечески не поешь, не поговоришь.

Серьезной мою болезнь признает даже государство. С эпилепсией инвалидность второй, бывает, и первой группы вместе с пенсией прямо навязывают. Мне и вправду ничего нельзя. К станку не подпустишь, за руль не посадишь. Душ принять я и то один не могу – выбросит из ванны, костей не соберешь. Что же до радостей – то, например, водки сколько ни моли, из родных никто и рюмки не нальет. Чего разрешено, так это жить тихо, размеренно и уповать на лучшее. А чтобы надежда не иссякла, утром, днем и на ночь по горсти разных таблеток.

Надо сказать, что эпилепсия у меня не врожденная, а, что называется, приобретенная. Девятнадцати лет от роду я, в те годы, по обыкновению, пьяный, решил скатиться по перилам ДК им. Зуева. Перила были хорошие, широкие, но я на них не удержался и с шести метров спикировал вниз головой. В больнице, во всяком случае, внешне собрали меня в соответствии с чертежами, но через месяц выяснилось, что в лобной доле памяти нечто важное.

Убедившись, что со всем этим так до конца и жить, я стал быстро опускаться. Ушел из университета, бросил встречаться с друзьями, неделями вообще не выходил из дома. Родители, конечно, пытались что-то делать, и незнакомых врачей я видел часто. Но толку не было. Я отвечал на одни и те же вопросы, они одинаковыми никелированными молоточками проверяли мои рефлексы, а дальше прощались, не сказав ничего обнадеживающего. Наверное, чтобы претерпеться, мне нужно было время и кротость. Что касается первого, то никто никуда меня не торопил, поначалу в порядке было и с кротостью. Дни напролет я лежал на кушетке, иногда с книгой, чаще просто глядел в окно. Ни о чем особенно не жалел, и каяться лишний раз меня тоже не тянуло.

В общем, всё было тихо, а затем ни с того ни с сего накатывала ярость. Она находила, как припадок, вне порядка и графика, и, наверное, в этом состоянии я был страшен, потому что однажды до меня вдруг дошло, что и мать, и отец боятся ее больше эпилепсии. Я тогда увидел себя их глазами и пожалел, понял, что страдают они ни за что. Поэтому в психиатрическую клинику попросился сам. Нашей районной больницей была знаменитая Кащенко, туда меня и положили. В психушке я провел почти год, точнее, одиннадцать месяцев и шесть дней. Это немалый срок, и из Кащенко я вышел во всех отношениях другим человеком. Перемены начались еще в университете, в больнице же скорлупа, в которой я произрастал, окончательно рассыпалась.

С эпилепсией и аффектами меня определили во второе полутяжелое отделение. В любой психбольнице не редкость хорошенькие медсестры. Здесь прилично платят – есть куча разных надбавок; освобождая себе по полнедели, можно легко договориться о суточных дежурствах, кроме того – льготы, если хочешь поступить в мединститут. Одной из отделенческих сестричек, Настей, я через месяц и был взят под крыло. Насте я многим обязан. Благодаря ей в больнице мне было неплохо, во всяком случае, лучше, чем дома, в Леонтьевском. Я стал ровнее, повеселел, мне даже начали снижать дозы глюферала и успокаивающих. Через полгода зашла речь и о выписке. Но уходить я не хотел. К тому времени «Второе» уже сделалось моим домом, моей норой, и вот так за здорово живешь выбраться на свет Божий я не решался. К подобным вещам в психбольницах относятся с пониманием, насильно не гонят. Позже, устав от Насти, я сам заговорил о воле, и меня, как только там появилась койка, перевели в пятое, санаторное отделение.

«Пятерка», она же знаменитая Канатчикова дача, что-то вроде переходника между тюрьмой и домом. Построил ее одноименный купец, иначе Кащенко не соглашался лечить его сумасшедшую дочь. Здесь до сих пор ничего не разворовали: те же ампирные зеркала до потолка в рамках красного дерева, гостиная в стиле Людовика XV, причем мебель подлинная и отлично отреставрирована. Больница – огромный город, умельцев достаточно. Кроме гостиной есть еще и небольшая бильярдная: стол немецкой работы с мраморным основанием и в меру вытертым сукном, настоящие, из слоновой кости шары. За тем, чтобы всё было в порядке, следил один хроник – старый маркёр, когда-то работавший в Парке культуры и отдыха имени Горького. Он же из разных сортов дерева вытачивал и клеил отличные кии. Вообще-то в руках людей, которые по закону за себя не отвечают, кии – настоящее оружие, и в сумасшедшем доме им не место, но зав пятым отделением Валентин Николаевич Григорьев, страстный бильярдист, ученик знаменитого Семанова, закрывал на непорядок глаза.

Однако рая нет нигде. На Канатчиковой даче меня лично смущала не огромная, чуть ли не на пятьдесят коек палата, половина которой храпит, будто при смерти, а раз в неделю кто-нибудь действительно умирает. В каждой больнице люди отдают Богу душу, ко всему этому привыкаешь, тем более что снотворного тебе без разговоров отвесят столько, сколько надо. Но там рядом с ампиром, рядом с красным деревом и бильярдом есть совершенно безумная уборная. Она тоже шикарная, с лепниной по потолку, с четырьмя высокими стрельчатыми окнами – это уже московский модерн, – а вдоль стены стоят в ряд пятнадцать обыкновенных советских стульчаков и все, как положено в сумасшедших домах, без стенок, без боковых и передних, чтобы не дай бог никто не повесился.

Такие унитазы, конечно, в любом отделении, но здесь они смотрятся особенно дико. Тот, кто их изваял, наверное, был человеком со вкусом – к перетекающим одна в другую округлостям никаких претензий нет. Однако когда на них взгромоздится и, немного потоптавшись, усядется орлом бедолага, у которого от таблеток перманентный запор, чуть не час сидит и сидит, без толку пытаясь нагадить. А тут еще вечно испорченные сливные бачки, и под тобой, словно издеваясь, струится чистый, прозрачный никогда не пересыхающий ручей. Я и теперь помню оторопь, охватывающую меня, когда входил в эту залу: всё же есть вещи, которыми нас

приучили заниматься в одиночестве. А так, если рассудить по справедливости, Канатчикова дача, конечно, не худшее место.

Настя меня любила. Ночью в психушках тихо, и народа, кроме больных, почти нет. Когда я лежал во втором, в нашем распоряжении была и ординаторская, и комната старшей сестры. Обычно Настя выбирала диван в кабинете заведующим, но при необходимости не брезговала и кушеткой в сестринской. Настя была любвеобильна, и, если за дежурство мы с ней спали меньше трех раз, она поочередно винула меня, таблетки и всю свою нескладывающуюся жизнь.

Узнав, что на Канатчиковой даче освободилась койка, она сказала, что хочет родить, что заберет меня из больницы и мы поженимся. НароФоминск, конечно, не Москва, но там у нее есть комната и, как ни посмотри, это лучше психушки. Но я свернул разговор. Настя была заботливая, преданная, и позже о своем отказе мне еще не раз пришлось пожалеть. Ее и больницу я до сих пор вспоминаю добром. Благодаря им впервые после зувского кульбита у меня появился тыл, впервые я знал, что, если на воле дело не заладится, есть место, где хоть и другая, но тоже жизнь, и в эту жизнь меня примут.

В больнице я догадывался, что Настя тасует лекарства – снижает дозу одних и добавляет другие, но особо не возникал. Считал, что раз за десять месяцев во втором отделении приступов не было, всё правильно. Может быть, дело было и не в лекарствах, а в самой Насте или в том, что в психушке никто ничего от тебя не хочет, так или иначе, я и недели не прожил дома, как у меня снова начались припадки. Пришлось вернуться к серьезным препаратам, причем увеличивать и увеличивать дозы. Я делал всё, что говорили врачи, пока в очередной раз не убедился, что после грехопадения Адама чистого добра в нашем мире не осталось: лекарства – конечно, если повезет – припадки снимут, но одновременно превратят тебя в нечто вроде растения.

Почти год я так и жил, даже ходил, еле переставляя ноги, а потом плюнул, решил – будь что будет. Началась такая рутинная русская рулетка. Никогда не знаешь, когда тебя прихватит и где. Зато знаешь, что после любого приступа можешь очнуться полным инвалидом с переломанным хребтом или, подавившись собственным языком, не очнуться вовсе. Пока мне несказанно везет, везет уже много десятков раз подряд, так что мне есть за что благодарить Бога.

По своей природе я игрок и оптимист, но в школе на математике мне успели рассказать, что подобный ни с чем не сравнимый фарт не может продолжаться вечно, в конце концов теорию вероятности никто не отменял. В общем, оставь мне судьба хоть шанс, играть на схожих условиях я никогда бы не стал. На следующий день после приступа я понимаю это особенно ясно и благодарю, говорю спасибо, бывает, и плачу. Когда же успокоюсь, сам себе объясню, что ведь и у других жизнь не вечная.

Прежде я думал, что если бы Дуся захотела, она бы вылечила меня не хуже Насти. После приступа, когда я по многу часов валяюсь в полузабытьи, мне часто снится одно и то же – что мы живем не в Леонтьевском, а в деревне, в доме бабушки, и держим на откорме свинью. В избе тесно, и вот свинью и меня поместили в хлев, в два соседних загончика. Между нами только дощатая перегородка, но дружбы нет. Какая дружба, когда я больной черной немочью, бесноватый, бьюсь в припадке, а рядом свинья, спокойная, толстая, хрумкает чем-то в корыте. И ничего, мразь, не боится, потому что до Рождества еще целый месяц, а резать ее раньше никому и в голову не придет.

Тут к нам Дуся подходит. Я тяну к ней руки, молю ее, свою крестную, помочь. Клянусь, что больше на водку эту проклятую и не посмотрю, ругаю, голубушку, зельем, отравой. Плакать, конечно, тоже не забываю, мне это легко, я всегда был плаксив, будто девочка. Били меня за слезы – вспомнить страшно. Всё же я то надеюсь на Дусю, то нет. Она ведь понимает, что ни одному моему слову верить нельзя, да и вообще, сколько я себя помню, она хоть и крестная, всегда меня на дух не переносила. Однако сейчас я, наверное, хорошо, талантливо плачу, словом, Дуся колеблется. Вдобавок и мать моя начинает рыдать, следом отец. А свинья спокойна,

дышит ровно, жует размеренно. В общем, сочувствие не ее конек. Но зря она, скотина нечистая, думает, что мы в разных лодках, все мы одной ниточкой повязаны. Пусть мои слезы – тьфу и слезы отца – тоже тьфу, потому что он теперь не хуже меня за ворот закладывает, но мать мою Дуся очень даже любит. Любит, жалеет и отказать мало в чем может.

Что Дуся, моя крестная, и впрямь настоящая прозорливица, с самого начала никаких иллюзий насчет меня не питала, я узнал давно, во время проповеди бывшего Дусинога духовника отца Никодима, в миру Алексея Полуэктова. Однако тогда внимания на это не обратил.

Каким отец Никодим был до своих трех лагерных сроков, мне ведомо только по ее рассказам, но и в пятьдесят девятом, когда я по воскресеньям стал ездить к нему в Снегири исповедоваться и причащаться, он произвел на меня немалое впечатление. Домовая церковь помещалась в цокольном этаже старой кирпичной дачи. Отношений с катакомбниками хозяева не поддерживали и особенно не таились, однако лишний раз дразнить власти никто не собирался, на службу больше шести-семи прихожан из Москвы обычно не приезжало. Хотя паства была невелика, Никодим служил с видимой радостью. За двадцать пять лет заключения он стосковался без храма, без правильной литургии и теперь, стоя за аналоем, вел службу очень торжественно. Из чина ничего не сокращал и не упускал, не спеша, со значением пел каждое слово.

Поначалу я был доволен и его проповедями. После службы он с редким искусством объяснял трудные места из Священного Писания – ты задавал вопросы, и он тут же, не откладывая дело в долгий ящик, отвечал. Кроме Священного Писания, он – правда, обычно с осторожностью – касался и тем вполне современных. Убежден, что без этих его наставлений жизнь многих из нас сложилась бы по-другому. Под осторожностью я имею в виду не эзопов язык; просто, говоря о вещах, с точки зрения властей безобидных, он всякий раз вписывал их в некую систему, так что и другое, о чем не было сказано, тоже становилось понятным. Но о его толкованиях пока рано. Ведь отец Никодим говорил о вере не подряд, шаг за шагом, а по вдохновению, как бог на душу положит, и еще много воды утечет, прежде чем я о чем-то начну догадываться.

Сейчас, во сне, я вижу его стоящим на амвоне 15 мая шестидесятого года. Это аккурат день моих именин и день памяти святого благоверного царевича Димитрия. Но крестить меня должны были не 15, а 11, когда поминают святых просветителей Кирилла и Мефодия. С Мефодием ясно: имя по нынешним временам экзотическое, но чтобы меня назвали Кириллом, отец, например, очень хотел. Однако Дуся настояла именно на Дмитриии. Значит, она еще тогда, за девятнадцать лет до ДК им. Зуева, знала, что у меня будет падучая. И уже тогда от меня, семи дней от роду, ничего хорошего не ждала. Потому что отец Никодим кончает свою проповедь тем, что все беды Русской земли начались после того, как был канонизирован царевич Димитрий, стал святым этот бесноватый ребенок. Оказывается, канонизация больного падучей – смертный грех. Среди прочего зла она породила страшную детскую ересь, до сего дня не дающую нам спокойно жить. Вот, значит, что за поводыря и ходатая перед Богом выбрала мне крестная.

Но что бы она по моему поводу ни думала, просить о помощи больше некого. Тем более что Дуся очень кстати стоит у загончика и видит, какой я лежу больной да несчастный. Смотрит на меня, затем на свинью. Та по-прежнему тянет морду к корыту, но жевать перестала. Пасть открыта, слюни текут, а в глазах одна глупость. Между тем крестная принимается читать молитву. Она всегда молится спокойно, вдумчиво, не частит, концы слов не глотает. Молитва о нас со свиньей, и я, конечно, знаю, о чем Дуся просит Господа. Слушаю и иногда зыркаю на свою соседку.

Свинья тоже вроде бы слушает, но что молитва о ней, вряд ли догадывается. А если что-то и подозревает, сказать, возразить точно не успеет, и не потому, что животное человеческим языком говорить не может, а потому, что вдруг по всему ее огромному телу пойдут судороги. Зашатается она, заходит ходуном и так же будет кричать, как я в начале припадка.

После ее повалит и станет бить, бить безо всякого снисхождения. Бить за то, что она ни разу меня не пожалела, не посочувствовала, как я ни мучился – слова обо мне хорошего не подумала. А дальше то ли сил в ней больше, то ли просто отец сменил накануне подстилку, принес несколько охапок хорошего сена, так что сколько ни падай, особо не расшибешься, в общем, она вскакивает на ноги и, в секунду разметав в щепки обе наши клетушки, бросается вон.

Отец с матерью – за ней. Ведь, если свинью не догнать, дома полгода не будет мяса. Ни разговеться по-настоящему на Рождество, ни Масленицы справить, и после Великого поста тоже на стол ничего не поставишь. Но пока они не унывают. Зима, белым-бело, и луна в большую тарелку. Полнолуние, видно как днем, так что, слава богу, след, где свинья снег таранила, не потеряешь. Кроме того, снега в эту зиму немало. В низких местах будет и по колено, на свинячьих ножках далеко не убежишь. В общем, родители бодры, отец даже смеется, представляет, как это приключение будет гостям пересказывать. Но тут – они еще не прошли и полкилометра – как на грех поднимается ветер. Начинается настоящий буран. Сразу такая темень и холод, что теперь отцу с матерью уже не до свиньи – самим бы выбраться на дорогу. В ту ночь они вернутся домой ни с чем. Свинью разыщут лишь через два дня. За деревней у нас глубокий овраг с петляющим внизу ручьем. С недавних пор городские наладились туда сваливать мусор. На свалке, уже наполовину съеденная собаками, она и будет лежать. И следы ее найдут – как она до края оврага добежала и, не останавливаясь, сиганула вниз.

До семнадцати лет без Дуси я себя почти не помню. Сначала я крестную любил, любил, наверное, так же сильно, как мать. Мне не мешало, что из детей меньше всех она жалуется именно меня – я сам себе не особенно нравился. Позже я начал от Дуси отходить, но и тогда она оставалась одним из главных людей в моей жизни. Дальше два с лишним года мне было просто не до крестной. Затем случилась история с Сашенькой, которую и сейчас как простить – не знаю. Большинство наших то, что произошло, худо-бедно приняли, во всяком случае, ничего не распалось, никто не порвал с Дусей отношений, и это меня поразило, но и позже ни к чему, что с ней было связано, я возвращаться не захотел; наоборот, получи я возможность править свою жизнь, вычеркнул бы из нее Дусю без сожалений и остатка.

Теперь, на верных три десятилетия отступив от тех событий, я понимаю, что детство у меня было не слишком обычным. С конца пятидесятых годов власть один за другим закрывала храмы, священников ссылали, и среди моих сверстников крещены были единицы. Я же без Христа, пожалуй что, себя и не помню. Я понимаю, что вокруг Дуси существовал самый настоящий приход. В Москве еще с довоенных лет она была известна как большая прозорливица, ее знали, при необходимости прибегали к помощи очень многие. Но был и ближний круг – семей десять, – в который входили и мои родители. До начала семидесятых годов все они жили по соседству, в переулках вокруг Тверского бульвара и Никитских Ворот, во всех этих когда-то огромных и дорогих квартирах в Леонтьевском, Трубниковском, теперь давно переделанных в коммуналки. Комнат и семей в каждой из них было много, иногда и по пятнадцать, но везде оставалось что-то от прежней жизни: роскошный изразцовый камин, наборный паркет или сложнейшая лепнина на потолке. Были и вольтеровские кресла, и резные красного дерева буфеты, и витражи в парадных. Не то чтобы мы обращали на это внимание, однако, когда еще ребенком я попал в старый, размещавшийся во дворце музеев, я мало чему удивился.

Живя здесь, и родители, и после мы ходили в одну и ту же школу – сто десятую. До двадцать первого года это была весьма известная в Москве Третья женская гимназия, после того как большевики прибрали к рукам образование, она стала называться Советской трудовой школой и получила новый номер – сто десятый. Но четверо учителей, в числе их директор и словесник с математичкой, прозванной за малый рост Молекулой, работали еще в гимназии, с ними неведомым образом ее дух пережил и революцию, и войну.

Во всяком случае, те из нас, кому пришлось перейти в другие школы, отчаянно тосковали. Вокруг было много начальственных домов, в каждом классе училось по несколько детей

партработников, но и они ценили, что образование школа дает отличное, и менять ничего не хотели. Наоборот, покровительствовали директору. Я, признаться, давно подозревал, что Дуся неслучайно набрала себе духовных детей с этого приарбатского пятачка, что всё как-то связано с нашей школой, и недавно узнал, что был прав – в тринадцатом году она окончила ту же Третью гимназию.

Под руководством Дуси мы жили почти коммуной. Помогали друг другу, собирались вместе на праздники, именины и вместе же, заняв в электричке чуть не полвагона, ехали в Тулу. До отца Никодима много лет подряд мы исповедовались и причащались на заброшенном лесном кордоне, где жил старый священник из катакомбных – отец Иосаф. Незадолго перед тем он освободился из лагеря, ему здесь купили дом. По разговорам помню, что наши семьи скинулись, каждый дал, кто сколько мог, остальное доложила крестная. Я и сейчас не забыл, как все радовались, как гордились, что у нас теперь есть свой батюшка. Несмотря на опеку Дуси, многие из родительских знакомых чувствовали себя оставленными, отделенными от церкви, тяжело это переживали. Но выхода не было. В единственный поблизости действующий храм старались не заходить: про тамошнего священника твердо было известно, что он стучит на прихожан. По большим праздникам на литургию туда ходили, но никогда не исповедовались и не причащались.

На своей лесной заимке отец Иосаф и служил, и жил, мы же ездили к нему раз в месяц и обычно с бездной приключений. Сначала до Тулы на поезде, потом автобусом, дальше на лошадях, а когда нанять их не удавалось, почти пятнадцать километров шли пешком. На кордоне было еще три дома. Раньше они тоже принадлежали лесникам, но постепенно мы купили и их, после чего две трети нас – детей с бабушками и няньками – не уезжали оттуда до сентября.

В моей жизни четыре лета под Венёвом – точно самое светлое время. Грибы, ягоды – всего была бездна, вдобавок в полукилометре небольшое, но очень чистое лесное озеро с купанием и рыбалкой. В общем, мы жили там, словно в раю, счастливые, безгрешные.

На кордоне в домашней церкви отец Иосаф каждый день служил и заутреню и обедню, на которую ходили, конечно, охотнее. Исповедовались мы у него раз в неделю, хотя, в отличие от Москвы, где, как бы ни был ты мал, грех лип к тебе и лип, каяться, если не считать мелочей, было не в чем. Рядом с отцом Иосафом ни в нас самих, ни вокруг не было грязи, и я до сих пор помню это свое ощущение чистоты: в Москве я его тоже помню, но совсем коротким и лишь после исповеди, а здесь мы с ним вставали и с ним засыпали.

Дуся, хоть и была юродивой, понимала значение денег и, чтобы наша община не захирела, не чинясь перераспределяла их. Большинство семей было небогато – где было много детей, даже подголаживали: родители работали инженерами, младшими научными сотрудниками, учителями, но был и свой миллионер – драматург, пьесы которого шли в десятках театров. Потом число капиталистов неожиданно удвоилось. В коммуналке соседнюю с нами комнату занимал работавший в заводской многотиражке нищий поэт. Фамилия его Коростылев. Человек он был добрый, хотя по большей части пьян в зюзю. Жил он один, без жены, без детей, и мне, еще маленькому, казалось, что он любит крестную немного по-другому, чем остальные. Кроме того, что ему приходилось делать в газете, он, если не был пьян, а может, и пьяным тоже, писал странные духовные стихи, которые надо было петь, как в церкви во время литургии поют тропари. Каждое из них он потом вручную отпечатывал в заводской типографии и, написав, дарил Дусе.

Три-четыре раза в год, обычно недели на две, крестная, никого и ни о чем не предупредив, исчезала. Говорили, что она ездит молиться куда-то на Север. И вот в одну из отлучек своей музы Коростылев согрешил: на спор сочинил для газеты пару песен о покорении целины, о чем мы узнали, лишь когда их уже распевала вся страна. Я и сейчас вижу, что в нем был этот дар, даже в плохих его стихах слова естественно ложатся на музыку. В отличие от нашего драматурга, славы он откровенно стыдился, дальше, как и прежде, писал для одной Дуси, а

про те две песни говорил, что его бес попутал. Однако гонорары за них еще лет шесть были для него, да и для остальных, немалым подспорьем.

Финансовые вопросы решались Дусей настолько тихо, что до студенческой скамьи я, например, ни о чем даже не догадывался. У нее был свой ключ от каждой квартиры, кроме того, у нас было заведено, что кошелек в любом доме лежит на видном месте, обычно на серванте. Кстати, мы, дети, лет с семи могли пользоваться тем, что там было, свободно. Такой порядок тоже шел от крестной, и надо сказать, никто этой необыкновенной привилегией не злоупотреблял. Брали сколько надо, на кино, на мороженое или на газировку, и то если видели, что берем не последнее.

Не просить денег, никогда и ни перед кем из-за них не унижаться было еще одним Дусиным правилом, и соблюдалось оно неукоснительно. Всем она занималась лично. В квартире, где в конце месяца, то есть перед получкой, в самое нищее время, кошелек по-прежнему был толст, она забирала сколько считала правильным, потом, никому ничего не сказав, как пчелка, несла в другие дома. Несла тем, кому иначе трешку или пятерку пришлось бы перехватывать у соседей. Этакая калика переходящая по московским квартирам, она немало брала, но не меньше и раздавала.

Ее не обманывали ни бедные, что понятно, ни богатые. Оба они, и драматург, и поэт, были у нас милостивы, богобоязненны и радовались, что могут помочь ближним – это правда, иронии тут нет. Возможно, что иногда денег не доставало, и тогда, как я слышал, в ход шел карман Дусиногo засаленного фартука, который вместе с деревенской юбкой и шерстяной, тоже деревенской вязки кофтой был ее униформой, а в карман вместе с просьбами помолиться об успехе начатых дел, о благополучии и здравии собственном и родных клали деньги другие прихожане крестной. Но нужда в переднике возникала редко: мы знали, это Дусины личные сборы и предназначаются они тайным монастырям катакомбников.

Доходы, как говорили, были порядочные. В Москве многие были уверены, что Дуся святая и Господь мало в чем может ей отказать. Ее просили о разном, в том числе и о вещах вполне земных, например, о повышении по службе, об избрании в академики или чтобы вернулся муж. Что именно хотят от Бога, в каком деле ищут ее поддержку, крестная не вникала, она просто брала конверт с деньгами, на котором, словно обратный адрес, было написано имя просившего, и молилась, чтобы Господь ему помог.

Мы тоже знали, что Дуся большая молитвословица и что стоит вместе с ней о чем-нибудь попросить Господа, Он тебе не откажет. Но она защищала нас не только молитвой. Мы ходим в школу, вступаем в пионеры, когда придет время, и в комсомол. Она во всё посвящена, всё делается с ее санкции. Больше того, это делается по ее слову, она говорит нам вступать, и мы без колебания вступаем: так, спасая нас, она берет на себя наши грехи. Большие и маленькие, мы знаем, что она наша старица, и нам легко, мы просто исполняем обет послушания.

Она объясняет, что не хочет, чтобы мы мучились: пока мы дети, мы чисты и святые и такими же должны остаться. Как суровая бонна, она следит, чтобы на наших душах не было ни пятнышка, и не устает повторять, что сохранить чистоту легче, чем очиститься, если уже замарался. Крестная нам всё позволяла и разрешала, требовала же одного – чтобы никто ничего не таил, безбоязненно говорил правду. Наши души должны были быть у нее на виду, тогда она была уверена, что сразу заметит и сумеет искупить грех. В общем, она помогала нам и так и этак, в итоге каждый был сыт, одет и, когда было горе, знал, что его поддержат, не дадут пропасть. Без этого Дусин приход вряд ли бы просуществовал целых двадцать лет.

Нашу семью крестная навещала три-четыре раза в неделю, часто оставалась ночевать, и тогда у двери стелила себе коврик. Сквозняков она не боялась. Я знаю, что отец и мать долго пытались соблазнить ее более почетным местом – кроватью, но однажды поняли, что стараются зря. Нам, детям, они объясняли, что Дуся ложится у порога, чтобы охранить дом от греха. Спала она крепко, хотя недолго, наверное, часа три, не больше, во всяком случае,

ложились, когда родители уже спали, а вставала первая, даже раньше мамы. Помню, что во сне она чуть присвистывала носом, это было знаком, что всё тихо, опасаться нечего. Вообще, если она не была нами возмущена, звуки, с ней связанные, можно было не замечать, они без труда сливались с происходящим в квартире и за окном – с шарканьем ног в коридоре, с шумом воды, разговорами, приглушенными толстыми, дореволюционной постройки стенами.

Как ночью она присвистывала, так днем причитала – в отличие от того, когда молилась – обычно скороговоркой, частя, немилосердно мешая присказки, пословицы с наставлениями, обращенными уже к нам, грешным. Точек она не признавала и, наверное, поэтому отделять одно от другого не желала. Сейчас мне кажется, что, пока ты был ребенком, тебе и не надо было разбираться, что там Дуся хочет сказать, важен тон – спокойный, если ведешь себя правильно, и, наоборот, негодующий, коли делаешь злое. Тут немного изменилось с тех пор, когда я по малости лет плохо понимал человеческую речь и считал, что крестная просто щебечет, как птичка. Тем более что в своем вечном сером платке она очень походила на небольшую пичужку.

Но взрослые ее милому пришептыванию не доверяли, откровенно Дусю боялись. Отцу, да и матери тоже, она, например, не раз говорила: «Зачем вы такие Богу нужны? Грешные вы, насквозь грешные, чистого в вас ничего нет. За что вас любить? Только жалеешь из последних сил». Могла и выругать. Иное дело, мы. С нами, особенно маленькими, она часами играла, причем на равных. Смеялась, ссорилась, совсем по-детски обижалась, когда у нее отнимали игрушку, нередко сегодня же ею подаренную, и тут же с ликованием сама отнимала другую. Особенно любила играть в куклы с моей сестрой. Наряжать их, шить платья, приторачивая бесконечные шлейфы, ленты, оборки. Потом устраивались бал и парадный ужин. За правильно накрытым столом с тарелками, кувертами куклы сидели строго по чину, каждая на своем месте.

Дусю я помню раньше, чем себя, и даже раньше, чем маму. Мама работала редактором в газете и приходила домой ближе к ночи, когда номер сдавался в набор. Отца, кроме воскресений, в нормальное время мы тоже видели не часто: он, сколько давали, ставил опыты в институтской лаборатории. По должности, званиям отец был младшим, и нужные приборы доставались ему в последнюю очередь. Так что из раннего детства я отчетливо помню нашу няню Клашу и, конечно, Дусю. Про Клашу я всегда, кажется, знал, что хоть целиком, полностью от нее завишу, мама больше ее – и неважно, что она приходит поздно и усталой. С крестной дело было сложнее. Кого она больше, а кого меньше, вообще кто она в нашем семействе, я поначалу разобраться не мог, часто путался.

Клаша должна была быть рядом, если же вдруг она отлучалась, следовало реветь и звать ее обратно. У Дуси строгого распорядка не было. Вольный художник, она могла появиться когда угодно и когда угодно уйти. Если Клаше надо было, например, идти в магазин или она возилась на кухне, а крестная была у нас, она оставалась со мной и сестрой легко, без лишних просьб, казалось, даже с радостью. Несмотря на то что все жили скромно, няни были у многих. В деревнях царила безнадежная нищета, и молодые девки любыми способами пытались оттуда вырваться. Сначала, попав в Москву, они по обыкновению шли прислугой в чужие дома, но дальше, убедившись, что здесь, в столице, мужа себе не найдешь, перебирались в ткацкие города: Иваново, Кинешму, Павловский Посад, где на фабриках вечно требовались работницы и какой-никакой был шанс устроить свою судьбу.

И вот год за годом чуть ли не ежедневно мы по многу часов играли с Дусей, это было и до Клаши, и при ней, и тогда, когда Клаша уже уехала в Ивантеевку, а ее сменила Рая, но постепенно я и сестра делались старше, и лет с пятнадцати, а то и раньше по лицу крестной делалось видно, что она разочаровывается, теряет к нам интерес. Если с детьми она всегда или почти всегда была весела, мягка, заботлива, если маленькими всех нас она любила, считала своими, то с нашими родителями, даже с теми, кого она выделила из общего ряда, кто входил в ее ближний круг, она была почти нарочито жестка, в лучшем случае безразлична. Могла

отрезать, вообще отвечала коротко, односложно и так, будто говорить с ними ей не о чем. Взрослых, причем при нас, детях, она легко могла обругать – особенно когда благодарили за деньги, еще за что-нибудь. Помню, как краснел, стеснялся этого мой отец, как боялся сказать Дусе лишнее слово, и как, наоборот, было с ней просто мне, ребенку, хотя я уже знал, что отнюдь не из ее любимчиков.

На взрослых с непостижимой быстротой ставился крест, словно они – все до одного – были людьми конченными, и она терпела их только потому, что понимала: мы, дети, пока не можем без них обойтись. Когда я, в свою очередь, перешел рубеж и увидел, что крестная мною потеряна, утрата переживалась очень тяжело. Наверное, я еще тогда догадывался о причинах разрыва, но люди, которых я знал, большие и маленькие, были для меня несравнимо разные, эту несхожесть я больше всего в них ценил, и она мешала, не давала додумать мысль до конца.

Лишь несколько лет спустя, в проповеди, отец Никодим просто и без околичностей объяснил, что происходило между нами и Дусей. Он тогда сказал, что взрослые в нашем греховном мире фактически двоеверцы. Для человека верующего здешняя земная жизнь – краткий испытательный срок перед вечной жизнью. Жизнью, до краев наполненной благодатью, любовью и общением с Господом. Атеисты же убеждены, что ничего ни до рождения, ни после смерти нет и быть не может, есть только то, что сейчас, в эту самую минуту; соответственно, если что-нибудь упустишь, то навсегда, другого шанса не жди.

Любому ясно, что одни и вторые настолько отличны, что ни понять, ни договориться никогда не смогут, а они, будто одной породы, и дружат, и семьи заводят. Дело тут в нас, которые зовут себя верующими, – но Бога не обманешь. Он знает, кто по-настоящему предан Ему, а кто, словно в театре, играет роль. Пусть ты ходишь в храм, слушаешь литургию, исповедуешься и причащаешься, какой в этом толк, если, сойдя с паперти, ты живешь так, будто Господа нет и в помине.

Думаю, что он прав и Дуся всё ждала, всё надеялась, что мы остановимся, не будем взрослеть, так и останемся в детях. Она удерживала нас как могла. Заманивая, упрасывая не идти дальше, всякий раз приходила с каким-нибудь гостинцем или игрушкой и до последнего верила, что удастся отговорить. Но мы обманывали ее и обманывали.

Если отца, мать, Клашу, крестную оставить за скобками, то из людей, которым в жизни я обязан больше всего, на первом месте, безусловно, стоит Сережа. О том, откуда он родом, кому и кем приходится, ребенком я не задумывался, когда же узнал, был удивлен, но и только. Сережи в моем детстве было много, хотя видел я его нечасто и лишь осенью. Летом он мотался по экспедициям, в основном на Крайнем Севере, а зимой почти безотлучно жил в сторожах на чьих-нибудь дачах. То ли он и в самом деле любил кочевать, был из тех, кого зовут «перекати-поле», то ли просто не имел своего угла и такой быт был для него единственным выходом.

После экспедиции, пока не находилось постоянное пристанище, Сережа нередко останавливался у нас. Обычно это была первая половина октября, как раз когда у троих из нас – у сестры, отца и матери – подряд шли именины. Мать любила гостей, любила большие застолья, с Сережей же, что было весьма кстати, в доме появлялось много отличного медицинского спирта, который – я это уже знал – можно было купить только «на Северах». Помню, разбавив, его настаивали на лимонных и апельсиновых корках, на перепонках из грецких орехов, на клюкве, хрене, и мать, ко всеобщему восторгу, в праздникставляла на стол целую батарею разноцветных бутылок.

Сережа не был остроумен, не был он и особенно хорошим рассказчиком, но из наших гостей я помню его лучше других. Благодаря Дусе мы жили тесно, без чужаков, и что и от кого ждать, давно знали, – он же все-таки был залетный. Первым номером я Сережу не видел, однако, когда его наперебой начинали расспрашивать о Севере, он сдавался, и я, да и остальные, с восторгом слушали о мошке, от которой никуда не спрячешься, о бесконечных, покры-

тых седоватым ягелем болотах и кормящихся там тысячных стадах оленей, о неспешных, будто не знающих, в какую сторону течь, реках и о редких сухих взгорках с куртинами леса.

По неведомой причине земля на восток от Урала и те, кто там жил, казались мне настолько яркими, что я еще за год до окончания школы знал, что, если, конечно, выдержу конкурс, пойду учиться на этнографическое отделение истфака и буду заниматься малыми народами Севера. Кстати, это единственное, что мне в жизни удалось тютелька в тютельку. Вслед за Сережей я почти тридцать лет, как челнок, мотался вдоль кромки Ледовитого океана от Оби до Камчатки.

Сережа не только рассказывал о Севере, он еще по несколько раз за сезон присылал мне оттуда посылки. На почте с квитанцией в руках я получал аккуратные кедровые ящички с упакованными в вату онгонами, другими амулетами и резаными по кости поделками. Однажды на именины он подарил мне огромные рога северного оленя, через год – настоящий шаманский бубен. Рога и сейчас висят в моей комнате над дверью, а бубен куда-то запропастился. Подобные дары получал от Сережи не один я. Сестра, например, на свой день рождения однажды надела полный шаманский наряд с бездной всяческих лент, колокольчиков, но главное – украшенный сложнейшим орнаментом, где каждый кусочек кожи и каждая нить были не просто так. Когда Сережа вызвался ей объяснить, где тут и что, она, прослушав его пару минут, убежала встречать гостей, а я из тогдашних его комментариев запомнил лишь, что самодийцы считают, что из женщин выходят более сильные шаманы, чем из мужчин. Позже подаренное Сережей одеяние перекочевало ко мне и уцелело до сего дня.

Сам до сих пор не понимаю, как так получилось, но что Сережа приходится Дусе родным сыном, я узнал только в шестнадцать лет. Несмотря на бездну энергии, крестная казалась бесплотной, и еще она была слишком общая, чтобы мне могло прийти в голову, будто у нее есть собственные дети. Разговор о Дусе и Сереже зашел в доме наших дальних родственников, куда я попал, увязавшись за отцом. В сущности, это был обыкновенный застольный треп. Уже за чаем ни с того ни с сего заговорили о юродивых. Кто они, есть ли сейчас, и тут вдруг прозвучало имя крестной. Помню, что я был поражен, как легко и отец, и остальные согласились с ее юродством. Тогда же кратко, почти пунктиром, я услышал и ее историю.

Монахиня Евдокия (Дуся), в миру Муханова, была из хорошей дворянской фамилии и для людей ее круга начала жизнь вполне обычно: гимназия, замужество, двое детей – оба мальчики, и Сережа старший. Второй, Боря, был зачат в шестнадцатом году, когда муж крестной, князь Петр Игреньев, получил отпуск по ранению, и они впервые после четырнадцатого года три месяца прожили вместе. Правда, Боря на земле не задержался – в Гражданскую войну он умер от менингита. В восемнадцатом году Игреньев то ли погиб, то ли пропал без вести – разница, в сущности, невелика. Никаких средств у крестной, естественно, не было, и без родителей и свекрови сына она никогда бы не подняла.

В двадцать седьмом году, когда Сереже было тринадцать лет, Дуся по настоянию Троицкого старца, которому прежде дала обет послушания, постриглась в мантию, хотя и осталась в миру. Рано умершего Борю за столом больше не поминали, про Сережу же сказали, что мать была уверена, что, достигнув двадцати лет, он уйдет в монахи. Строго говоря, всё его воспитание было не чем иным, как подготовкой к монастырской жизни. Но в середине тридцатых годов в советской России осталось лишь несколько монастырей, и все они поддерживали митрополита Сергия, а крестная вместе с Сережей давно уже сочувствовали катакомбникам; в общем, что делать, было неясно.

Советуюсь то с одним, то с другим, Сережа колебался, а потом вдруг заявил матери, что принять постриг он пока не готов. Дуся, похоже, не настаивала. О ее юродстве тогда не было и речи, такой, какой мы ее знаем, она сделалась лишь во время войны. Сережа с детства очень хорошо рисовал, и мать согласилась, что будет правильно, если он попробует поступить в Строгановский институт (это удалось со второй попытки) – единственное место, где готовили

реставраторов. Церковное хозяйство – иконы, фрески – везде находилось в запустении, и более нужного послушания найти было трудно.

Разговор о крестной не мог не произвести на меня впечатления. Приняв вслед за другими, что она юродивая, святая, я понял, что всё детство – мои собственные отношения с Дусей, отношения с ней родителей, вообще каждого, кого я знал, – придется пересматривать заново. Для меня это оказалось непросто. За год я, если и продвинулся, то недалеко, другое дело – с выпивкой. Я ничего между собой не увязываю, но так совпало, что, потерпев поражение с крестной, я, к ужасу родителей, чуть не каждый день стал возвращаться домой пьяный.

Пока я был мал, Дуся была для меня бабушкой, обычной бабушкой, странности которой, в сущности, ничего не меняли, и вдруг я узнаю, что жизнь – моя, других – это жизнь при юродивой, и в ней может быть лишь один смысл – тот, что обращен к Господу. К тому времени мне уже не надо было объяснять, что всё, чем живет юродивый, – Господь, Он Один. Юродивый даже больше посвящен Богу, зависим от Него, чем монах. А тут получалось, что и мы каждым словом, каждым своим шагом в этом участвовали. Вернее, обязаны были участвовать.

Конечно, люди, среди которых я рос, были верующими и воцерковленными, однако здесь требовалась иная близость к Всевышнему, и я очень сомневаюсь, что нам часто удавалось быть на уровне. Нужна была инвентаризация, полная переоценка всего, и поначалу я взялся за дело с энтузиазмом. Но время шло, а толку не было, и руки сами собой опустились. Масса вещей, которые я привык считать мелочью, обыкновенной ерундой, на глазах превращались в серьезный, может быть, даже смертный грех. Они были грехом хотя бы потому, что вот я играю, радуюсь, а о Боге не помню. Мир в одночасье поменял свои правила. Например, я знал, что Дуся любит меня меньше сестры, но по сему поводу не тревожился, а оказалось, что это чуть ли не приговор: не крестная – Бог меня не любит.

Мы – Дусин ближний круг – были ее общиной, стадом, которое она избрала и собрала, а теперь вела к Господу. Пусть мы, как могли, упирались, норовили кто куда разбежаться, всё равно часть ее святости падала, не могла не пасть и на нас. Про остальных не скажу, но я был обыкновенный подросток и вряд ли достоин подобной милости. Полтора года, пока не кончил школу и не поступил в университет, я со всем этим что-то пытался сделать, хоть на живую нитку, но одно с другим сшить. Смотрел на отца, на мать, сравнивал с родителями своих товарищей, но ничего особенного не находил. И в крестной я постепенно разочаровывался, чаще и чаще думал, что тогда, может быть, меня просто разыграли.

Перебирая детские воспоминания, я с трудом выискивал пару десятков эпизодов – многие походили друг на дружку как близнецы, – когда Дуся вела себя не так, как полагалось обычной бабушке, когда, пожалуй, она и вправду напоминала юродивую. То, что я вспомнил, часто начиналось с игры в прятки, которую крестная очень любила и в которой ничуть нам не уступала. Возможно, подобное бывало и в других домах, но сам я этого не видел.

Что касается нас, то прятаться было где. Комната даже по тем временам считалась огромной – под сорок метров, с пятиметровым потолком – и отец, неплохой столяр, вдоль всех стен, кроме той, что была с окнами, соорудил широкий балкон. Антресоли сделались родительской половиной, мы же втроем – я, сестра и нянька – помещались внизу, внизу принимались и гости. Играя, на эти границы внимания, конечно, не обращали. К комнате еще примыкал чулан, служивший нам платяным шкафом. В нем, маленький, когда обижали и хотелось плакать, я затаивался среди шуб, подушек и старых одеял. Своего рода те же прятки. Чулан, как и комната, был двухъярусным. Поверху, на плечиках с пришитыми кулечками высушенной лаванды, чтобы отпугнуть моль, висели зимние вещи – всё меховое и шерстяное, под ними, на первом этаже, на вешалках и в сундуках – остальное.

Хотя и усовершенствованная отцом, комната не выглядела вмняемой. Дело в том, что мебель – шкаф, горка, письменный стол, зеркала – не лепилась, как у других, по стенам, а была выдвинута к центру, к обеденному столу, прикрывая стоящие за ней кровати. Из-за подобной

конфигурации, а также благодаря шести раскладным ширмам с драконами – отец вывез их из китайских командировок – и у меня, и у сестры, и у няни был собственный закуток, в сущности, настоящая нора, где мы, если хотели, могли остаться одни и где нас без особой надобности старались не тревожить. В общем, комната была создана для прятков, и Дуся, несмотря на свои годы, тоненькая, гибкая, каждый раз умудрялась найти какую-нибудь щель, куда заглянуть никому и в голову не приходило.

В крестной был настоящий азарт, потому мы и любили с ней играть, в отличие от остальных взрослых, считали одной из нас. И вот мы часами прятались, искали друг друга, пока наконец не наступал уже Дусин черед водить. Обычно она всё делала по правилам и претензий к ней не было, но изредка случались проколы. Сначала, как заведено, она выходила в коридор, чтобы дать нам время найти себе укрытие по вкусу. На это отводилось минуты три. Дальше с тактом и расстановкой крестная громко объявляла: «раз, два, три, четыре, пять – я иду искать; кто не спрятался, я не виновата», снова повторяла считалку и открывала дверь.

Там, где играют в прятки, сразу делается тихо и пустынно. Сам водивший не одну тысячу раз, я хорошо помню это свое ощущение, что в комнате никого нет и никогда не было – искать тут нечего. Наверное, то же чувствовала и Дуся. Войдя, она поначалу ходила совершенно потерянная и, не знаю зачем, звала, уговаривала одного из нас: «Глебушка, душечка, где же ты, моя ягодка, куда, маленький мой, подевался? Выйди, не бойся. Разве Дуся что-нибудь плохое тебе делала? Я и сейчас не пустая, с гостинцами к тебе пришла. Смотри, тут у меня – шоколадка, и леденцы, и карамель. Выйди, не мучь старуху».

Так она обращалась к каждому, никого не забывала, но мы не поддавались, и она веселела, входила в раж. Походка у нее была семенящая, мелкая, не больше чем на ступню, но двигалась крестная быстро, и спиной, разработанной сотнями земных поклонов, кивала с почти балетной ловкостью. Хитростью, чутьем Бог ее тоже не обидел. Чтобы найти нас, ей легко хватало два-три раза обежать комнату. Вот мы уже все у окна – за ушко да на солнышко – дурачимся, пытаемся перекричать друг друга, а она одаривает нас конфетами, которых у нее и вправду полный карман. Сейчас я думаю, что, играя с нами, она испытывала ту же радость, что Господь, когда Он, вдунув душу, выпускал в еще пустой мир одну живую тварь за другой, и они, едва коснувшись земли, начинали суетиться, галдеть, пищать. Но этой своей радости она боялась.

Пока же мы взалхлеб, со смехом и беготней прячемся, а Дуся, ища нас, по обыкновению, заглядывает под кровати, в шкафы, лазит на антресоли, шарит в чулане и в простенках и вдруг – мы даже не сразу понимаем, что происходит, – сбивается. Выкликнув кого-нибудь из нас, повторив имя, она ни с того ни с сего путается, принимается искать то ли саму себя, то ли еще какую-то Дусю. Как и нас, зовет ее «родненькой», «ягодкой», уговаривает не бояться, не прятаться – ничего плохого она ей не сделает. Внешне ничего не менялось: крестная по-прежнему быстро-быстро бегала по комнате, на ходу проверяя тайники и закоулки, но теперь, даже кого-нибудь найдя, не радовалась, вообще не обращала на пойманного внимания. Это было несправедливо и обидно до слез, но постепенно мы начинали догадываться, что просто Дуся играет уже не с нами, у нее теперь собственная игра, и нас она не касается.

Один за другим мы выходили из укрытий, тут же затевалось что-то новое, и дальше мы жили своей жизнью, а она – своей. Не замечать ее нам было нетрудно – ведь вместе со многими жили деды и бабки, некоторые от старости были не в себе и выкидывали коленца похлеще крестной. Так что мы с детства знали, что ни дома, ни в гостях обращать на это внимание не надо. Больные люди они и есть больные, это не театр и не цирк, чтобы стоять и глазеть.

Конечно, мне давно уже ясно, что, зовя Дусю, крестная искала не ту себя, из плоти и крови, что каждый из нас знал, а свою душу. Ласково, будто с нами маленькими, когда мы болели, увещевала ее: «Иди, иди сюда, моя хорошая. Иди, не огорчай, не мучь Дусю, она уже и так истоптала все ноги», и снова: «Куда же ты, миленькая, запропастилась, чего ушла, бросила

меня?» Спрашивала: «Чем я тебя обидела, чем перед тобой виновата?» Говорила ей: «Кто же живет без души, без нее, поди, и молиться нельзя. Без души Бог тебя слушать не станет, скажет: “Дусенька, доченька, Я ведь каждому душу-то дал, никого не забыл. Может быть, ты и не человек вовсе, а пыль, прах земной. Смотри, какая ты шустрая: без души всякий легкий, ветер тебя туда-сюда и носит”. Что я Ему скажу?» И снова: «Иди, иди, миленькая, иди, хорошая, без тебя мне не жить».

Ища душу, крестная по-деревенски, совсем как наши няньки, всхлипывала, шмыгала носом, но по-настоящему плакать не плакала. Во всяком случае, я слез не помню. Между тем, сколько она ни просила, ни заклинала, никто не отзывался, и разыскать пропажу тоже не получалось. Смириться, принять, что ее уже не найдешь, Дуся, конечно, не могла, и поиски не только не прекращались, наоборот, у меня было ощущение, что завод в ней всё раскручивается и раскручивается, всё набирает и набирает обороты. Вела она себя по-разному: бывало, вдруг встанет посреди комнаты и начнет объяснять, что ни ей, вообще никому душа не нужна, с ней одни хлопоты, без души жить не в пример проще. В другой день будто в недоумении отойдет к окну, сядет там на стул, глаза слепые, будто повернуты вовнутрь, руки сложены на коленях, но пальцы беспокоятся, то и дело теребят фартук. Просидит пять минут и снова методично, ничего не пропуская, начинает место за местом обшаривать, обыскивать тайники. Каждый давно проверен и перепроверен, но она или не помнит это, или не понимает.

Иногда речитативом на два-три голоса она разыгрывала целые сценки: «Дуся, – кричит ее мать, – доченька моя ненаглядная, где же твоя душа, где ты ее оставила? Иди, иди обратно, ищи ее, пока не найдешь, без нее я тебя в дом не пушу». Дуся отвечает: «Да найду я ее, маменька, сейчас найду, некуда ей деться. Забилась, чертовка, в какую-нибудь дыру, сидит, смеется надо мной». Она еще что-то говорила, бормотала под нос, но разобрать можно было лишь отдельные слова. Дальше карты могли лечь так и этак. Часто душа всё же поддавалась на уговоры, позволяла крестной себя найти, и она, удовлетворенная, затихала. Когда же та упорствовала, дело могло принять другой оборот.

Надо сказать, что мои родители были люди интеллигентные, а главное, что понималось под этим словом – множество негласных запретов. Один из важнейших – никогда и ни при каких обстоятельствах не ругаться матом. Дома мат был вообще немыслим, о чем в обязательном порядке предупреждалась каждая нянька. Несмотря на то что, нанимаясь, они божились, что плохих слов никто от них не услышит, но в деревне без мата тебя и собственная корова не поймет, так что при нас, детях, они, бывало, прокалывались. При родителях реже, особенно они боялись мать – о ней было известно, что за мат она может отказать от места. Вбили это и в меня. Во всяком случае, до психушки не помню ни разу, чтобы дома я выматерился. Во дворе, конечно, случалось. Тем не менее и дома я слышал мат не только от Клаши или Раи.

По каким-то причинам душа не соглашалась найтись, очевидно, была слишком напугана, и иллюзий у крестной не оставалось. Кажется, она знала, в чем дело, понимала, что душа права: она, Дуся, сама во всем виновата. Раньше, маня ее, уговаривая, будто ничего не случилось, вернуться, крестная изображала дурочку, но всё без толку. Наверное, кроме как встать на колени и смиренно, кротко молить Господа, чтобы Он простил ее, другого пути не было, но, похоже, Дуся сейчас о Боге не помнила. Может, чересчур была разгорячена игрой – тот маховик, что позволял ей без устали рыскать и рыскать по комнате, залезать в самые немыслимые щели, чтобы нас, тощих, юрких сепелявок, вытянуть на свет Божий, он же словно говорил ей: не бойся, никуда твоя душа не денется. Скоро ты ее найдешь, в крайнем случае, посулами выманишь из укрытия. И вот, заигравшись, крестная забывала о Боге, а может, и вправду считала, что раз души в ней нет, то и Господу ей как бы нечем молиться. Она от Него дальше, чем бессловесная скотина, – нечто вроде пустышки, мертвяка.

Хотя Дусина душа покинула тело, сила в нем еще оставалась, много силы. Не зная, что теперь с ней делать, крестная принималась над собой глумиться. Больше не было ни речита-

тива, ни тонкого умильного голоска; издевательски туда-сюда изгибаясь, растопырив ручки, очень похожие на маленькие ошипанные крылышки, и, по-куриному квохча, она начинала кружить вокруг обеденного стола. Она огибала его своей обычной семенящей походкой не спеша, чуть пританцовывая, будто хотела, чтобы мы все хорошо ее рассмотрели – такая мерзкая глупая курица, ничего лучшего, чем суп, не заслуживающая, – шла и, постепенно заходясь, всё злобнее кудахтала.

Иногда два-три ее круга, как сквозь глушилки, невозможно было разобрать ни слова, а потом треск, шумы, всякого рода невнятица вдруг пропадали, оставался лишь мат, яростные ругательства и проклятия. «Дуся, сука, сука, шалава, блядь подзаборная, подстилка. Курва ты, и порода у тебя такая же бляжья. Да нет, – бормотала она, – ты хуже любой потаскухи, совсем удержу не знаешь. Христос Марию Магдалину недаром принял, утешил – она торговала телом, а ты, грязь, погань сраная, – душой». И снова: «Не ты ли, шлюшка, перед престолом Господним, как жениху, клялась своему исповеднику, что на веки вечные отдаешь ему свою душу, не ты ли на коленях молила взять ее, сберечь, потому что иначе тебе не спастись...» Она не всё время кричала, силы постепенно подходили к концу, и крестная, сев на какой-нибудь стул, тихо и обреченно повторяла: «Бегала ты, бегала от одного к другому...»

Если в то время, когда Дуся искала душу, приходил кто-нибудь из взрослых, нас сразу же выводили в коридор или, пока дело не уляжется, отправляли гулять. Но и сами мы были хорошие, незлые дети, и, как плохо сейчас крестной, объяснять нам было не надо. Помочь мы ей ничем не могли. Веселого тут тоже ничего не было, и, конечно, мы были рады уйти. Шли во двор, на площадку и, пока нянька не звала нас обратно, играли уже там.

После припадков Дуся слабела, даже не могла двигаться и дальше, приходя в себя, спала до следующего утра. По-видимому, вечера и ночи ей хватало, чтобы оправиться, потому что просыпалась она уже обычной Дусей, той Дусей, без которой собственную жизнь мы вообще не представляли. Ничего между собой не обсуждая, никак не сговариваясь, мы понимали это так, что душа к Дусе вернулась, всё в порядке, она снова здорова.

В тридцать четвертом году Сережа пошел в Строгановский институт. Окончил его, работал в каком-то ярославском музее, дальше – фронт, три ранения, причем все тяжелые. Демобилизовавшись в сорок пятом, в музей он уже не вернулся, сошелся с этнографами и больше четверти века мотался по Северу. Рисовал всё, что его просили: одежды, орнаменты, лица камлающих шаманов и чумы, всякую домашнюю утварь, бубны, онгонов и тут же – упряжку собак, бредущих по снегу оленей. Он делал это везде, от Ямала до Чукотки, сначала в поле, а потом, когда те, с кем он ездил, выходили в люди, защищали диссертации, оформлял для издательства их книги. Я был уверен, что он так и будет кочевать до самой смерти, но в начале семидесятых годов, ему еще не исполнилось шестидесяти лет, Сережа вдруг уволился из института этнографии и осел в Москве. К счастью, тремя годами раньше кто-то из работавших с ним академиков выбил ему в старом купеческом доме на Трубной мастерскую.

Комната была как комната, если не считать, что на стенах в два ряда висели иконы. Доски Сережа привозил тоже с Севера. После начала коллективизации туда были сосланы десятки тысяч староверов, ко времени смерти Сталина большинство их погибло. Из выживших Сережа многих знал, давно был с ними дружен. Часть досок он уже в Москве реставрировал, причем, что особенно ценилось, делал это по всем правилам, а на следующий год возвращал в скиты. Но немало образов еще дониконовского письма Сереже были просто отданы на сохранение.

Его отношения со староверами начались еще в конце сороковых годов, и немудрено, что из того, что перебивало за двадцать лет в Сережиной комнате, собралась бы коллекция, которой позавидовал любой музей. Недавно я снова вспоминал иконы, к которым он был особенно привязан, наши не слишком частые разговоры и вдруг понял, что он с трудом принимал взрослого Христа, Христа Пантократора и Христа на Голгофе, Христа проповедующего и Христа,

грозящего грешникам. На образах, перед которыми он молился, был лишь Христос-младенец, Христос-дитя на руках у Богородицы. Сережа ни разу, во всяком случае, при мне, на подобные темы не высказывался, но, может быть, остальное было для него чересчур жестко и строго.

В те годы временами и я думал, что Сын Божий уже своим зачатием и рождением, всеми чудесами, с этим связанными, показал нам дорогу, путь, которым следует идти, чтобы спастись. Больше ничего было не надо: Христос ведь и Сам однажды сказал: «Будьте как дети, ибо их есть Царствие Небесное». Я слышал, что и у Дуси любимой была та часть жизни Спасителя, когда Богородица, она одна, была всем Его миром. Кроме нее, в нем больше не было никого.

Наверное, поэтому крестная так настойчиво повторяла, что любое взросление есть уход от Господа. Каждый день, который человек прожил на земле, до краев наполнен грехом и лишь отдаляет от Бога. Как-то она сказала, что и у Христа, по мере того как Он рос, менялся взгляд на мир, созданный Господом. Он видел, что люди своим злом настолько всё исказили, что прав зваться его творцами у них теперь не меньше, чем у Всевышнего. В этом единственная причина, почему Сын Божий, выйдя из детства, день ото дня делался суровее, труднее прощал, чему в Евангелиях много свидетельств. Отсюда же и Его отдаление от матери. Так было до возвращения в Иерусалим, до Тайной вечери и Голгофы.

Сережа рассказывал о староверах не слишком охотно. Те жили закрыто, чужих старались к себе не пускать, и он это уважал. Правда, пару историй еще прежде, чем сам впервые попал на Север, я от него слышал. Как последователи Аввакума относились к большевикам, погубившим в тюрьмах и лагерях три четверти их единоверцев, ясно, но и белых, зеленых, прочие масти они тоже не жаловали. Когда-то пророк сказал: «разделившееся царство не устоит»; Гражданская война, в которой народ Божий без устали сам себя убивал, была неоспоримым свидетельством, что пришли последние времена: зло в каждом, и вина тоже на каждом. И вдруг в сорок восьмом году Сережа в одном из скитов услышал новое объяснение Гражданской войны. Не убежден, что роль событий, которые пойдут ниже, действительно велика, важно другое: в этом предании попытка, никого не исключая, простить и оправдать соплеменников.

Староверы рассказывали Сереже, что в ноябре шестнадцатого года, то есть на третью зиму войны, когда были убиты уже миллионы солдат, многие миллионы ранены и изувечены, те же, кому пока везло, заживо гнили в окопах, глава Синода Саблер на докладе у царя сказал, что подданным его величества необходим знак, что всех их он равно любит и всех равно считает себе преданными. В первую очередь он, Саблер, говорит о старообрядцах. Надо отказаться от взгляда на них как на еретиков, которые непременно прямо сейчас должны раскаяться и присоединиться к синодальной церкви. Наоборот, староверам следует дать понять, что Государь считает их веру столь же угодной Богу, как и православную. Причем хорошо было бы обойтись без деклараций и манифестов.

Царь спросил, что конкретно Саблер предлагает. Тот ответил, что в больших православных храмах можно позволить время от времени служить литургию и по дониконову канону. Сначала в одном, если же сойдет гладко, то и в других, везде, где в округе живет много староверов. Царь, подумав, согласился, и на пробу был выбран чухломской храм Пресвятой Богородицы. Выбран не случайно. Священником там был отец Георгий, человек мягкий, к тому же относившийся к старообрядцам с глубокой симпатией. Вся Чухлома знала, что он дружит домами со староверческим батюшкой отцом Досифеем, с которым они женаты на сестрах. Саблер тоже был о нем наслышан, в частности потому, что в Синод только за один минувший год на отца Георгия было послано больше десятка доносов. Им давно следовало дать ход, но он неизвестно почему медлил, теперь убедился, что правильно.

Епархиальным начальством в вину отцу Георгию ставилось многое. В частности, что чухломской батюшка ничего не делает для возвращения еретиков в лоно церкви, более того, в разговорах с мирянами не скрывает, что ему нравится, как живут староверы. Особенно их семьи. Нравится, что ни жёны, ни мужья не блудят, не пьянствуют, не сквернословят и друг с дру-

гом не дерутся. Что дети в староверческих семьях хорошо воспитаны, вежливы, не врут. Всё это куда ближе к тому, что хочет от человека Господь. Последнее говорилось открыто, иной раз даже во время проповеди, в итоге, по данным полиции, несколько десятков православных, соблазнившись подобными речами, ушло к отцу Досифею.

Чухломская церковь Пресвятой Богородицы была очень велика. Храм в стиле ампира был возведен в середине XIX века иждивением графов Шереметевых для крепостных из окрестных торговых сел. Тогда здешний люд был сплошь православным, но позже по соседству в городских слободах стали селиться и старообрядцы. К концу века их было уже за тысячу. Все Рогожского согласия, то есть признающие, что без священнослужителей человеку в нашем мире не спастись. Умножившись, община стала обращаться в Синод с просьбой разрешить ей построить собственный храм, но, несмотря на немалые взятки и ходатайства влиятельных лиц, за двадцать лет в Петербурге мало что сдвинулось. Теперь можно было разом убить двух зайцев.

Выбор на чухломскую церковь пал не только поэтому: в Синоде знали, что храм даже по большим праздникам наполовину пуст. Живущие по соседству крестьяне и обыватели, уважая отца Георгия, сам храм из-за сырости и сквозняков дружно не любят. У церкви была еще одна особенность: по внешности храм святой Богородицы был обычным крестово-купольным храмом с высокой колокольней над основанием креста. Однако то ли архитектор ошибся, то ли он просто ничего не смыслил в акустике, но во время службы в боковых приделах почти ничего не было слышно. Сей просчет Саблеру был только на руку. В храме, ничуть не боясь, что попы помешают друг другу, можно было одновременно служить две литургии. Последнее решило дело, и 10 декабря шестнадцатого года во время Рождественского поста в чухломской церкви начались староверческие службы.

Всё же в первые дни два стада детей Христовых старались по возможности развести, но скоро убедились, что и вправду никто никому не в тягость. Видя, что Господь за них, отцы Георгий и Досифей на Рождественскую литургию договорились вообще объединить свои паствы. Даже без боковых приделов храм легко вмещал восемьсот прихожан. На этой совместной рождественской службе наверняка было не меньше. Чтобы послушать первую после Никона общую литургию староверов и синодальных, кроме местных, пришло несколько сот человек из Чухломы и других пригородных сел. Пока люди были в церкви, всё шло хорошо. Как рассказывали староверы, оба батюшки – и отец Досифей и отец Георгий – служили чинно и благолепно, отлично пели хоры, пламя свечей, ладан, мирро, смешавшись с молитвами людей, помнящих сейчас лишь о Господе, доверху наполнили церковь Пресвятой Богородицы божественным, сделали из нее как бы взаправдашний рай.

Литургию, по общему согласию, служили по староверческому канону, закончилась она только в пятом часу пополудни, когда священники, благословляя прихожан, стали для крестного хода выводить их на паперть. Шла война, у каждого, кого ни возьми, немало родни было на фронте, и всё равно в этот спасительный день Рождества Христова люди были светлы и радостны. Известно, что старообрядцы во время крестного хода окольцовывают храм по солнцу, никониане же, как и греки, идут против движения нашего светила по небу. Так было и на этот раз. Оба хода с крестами, иконами, хоругвями, будто овцы за пастухом, пошли каждый за своим священником. Перед храмом была вымощенная булыжником паперть размером в добрую площадь. От нее, огибая церковь, в обе стороны впритык к стенам шли посыпанные песком дорожки, одно время довольно широкие, но за поворотом делавшиеся чуть ли не тропинкой. Когда священники вышли из церкви, много народа еще оставалось в храме, молясь или ожидая очереди, чтобы приложиться к очень здесь чтимой иконе Чухломской Божьей Матери. Постепенно, осеняя себя и других крестными знамениями, выходили и они.

Запруженная народом паперть напоминала полноводное озеро, из которого мирно и неспешно струились два людских потока. Поначалу оба хода легко, без заминки втягивали в себя новых и новых прихожан, но людей было столько, что на глаз число их не убывало. Пер-

вые несколько десятков метров верующие шли свободно, не теснясь и не толкаясь, даже детей на руки никто не брал. Однако дорожка быстро сужалась, сразу всех пропустить она уже не могла, и ток прихожан стал замедляться. Хуже того – как бывает при любых заторах, людей сдавливало всё сильнее и сильнее. Скоро многим даже сделалось трудно дышать. Детей, чтобы их не покалечило, теперь держали над головами. Тем не менее оба хода продолжали идти, и страха ни в ком пока не было.

У чухломского храма была знаменитая на всю епархию колокольня. Славилась она двумя вещами: во-первых, тяжелым двухсотпудовым колоколом, против ожидания звучащим не басом, а высоким, чуть надтреснутым тенором – кажется, на литейном заводе что-то напутали с рецептурой чугуна. Однако в остальном он был хорош, и, когда звонили, слышно было за много верст. Но главное – звонарем-виртуозом. Это был калека-немой откуда-то с Западной Украины. Рассказывали, что ребенком он был болтлив, как баба, и отец однажды, не сумев заткнуть его, десятилетнего пацана, осатанел и, зажав голову между коленями, сапожным ножом резанул подъязычную жилу. С тех пор говорить по-человечески он уже не мог, но слух имел отменный, вдобавок ловкие, проворные руки. Благодаря им он теперь со всем приходом изъяснялся колокольными звонами.

Вокруг основания колокольни шла самая узкая часть дорожки. Еще хуже, что вплотную к ней примыкало старое, тесное кладбище. Ограды везде были высокие, почти по грудь, и увенчаны наверху в виде шишаков и копий. Получалось, что и в сторону тут тоже не подашься. Староверы, понятно, ни о чем подобном не знали, другое дело, отец Георгий и синодальные, у многих из которых здесь были похоронены родные. Но и им не пришло в голову, что двум крестным ходам под колокольной не разойтись.

Раньше всех, что старообрядцы и никониане скоро столкнутся лоб в лоб и тогда не избежать беды, понял звонарь. Не имея возможности криком остановить людей, он разом оборвал праздничный перезвон и стал звонить так, как на Руси издревле предупреждали народ об опасности. Лучше бы он этого не делал. Люди, хоть и поняли, что что-то случилось, но что – не знали, и в давке, когда было не шевельнуть и рукой, от бессилия буквально сходили с ума.

Кстати, Серезино предание десять лет спустя я чуть ли не слово в слово записал уже сам. Дело было в маленьком скиту на берегу Оби, и тогда меня поразило сходство деталей чухломской истории с угличским восстанием в день смерти святого благоверного царевича Дмитрия. И главное – почти неразличимость обеих смут, что начинались в России колокольными звонами.

Как известно, в 1591 году сын Ивана Грозного от Марии Нагой, восьмилетний царевич Дмитрий скончался в выделенном ему в удел городе Угличе. По официальной версии, несчастный ребенок – тяжелый эпилептик – играя в тычки (в ножички), случайно сам себя заколол. Горожане давно подозревали, что фактический правитель страны в те годы Борис Годунов только и думает, как известить наследника престола, младшего сына Ивана Грозного. Узнав про беду, они бросились на царевичев двор и там в ярости, не разбирая, кто прав, кто виноват, растерзали несколько служивых людей. Дальше было долгое судебное разбирательство. На следствии один за другим посадские повторяли, что взбунтовались, послушавшись колокола, в итоге он и был признан зачинщиком смуты. Как и у нашего звонаря, ему вырвали язык и приговорили к вечной ссылке в Сибирь. Вместе с колоколом за Урал были отправлены все угличские обыватели, тащившие его туда несколько тысяч верст.

Между тем в Чухломе через минуту после звонаря увидели друг друга и священники. Было ясно, что двум ходам не разойтись – места для этого нет, и они, расставив руки крестом, попытались остановить своих прихожан. Но дело было пустое. Верующие, кроме тех, кто был рядом с батюшками, ни о чем не подозревая, продолжали идти, и вместе с ними, будто два потока, крестные ходы текли и текли вперед. Люди, конечно, кричали, молили, чтобы задние не давили, но их вопли вместе с отчаянно звонящим колоколом мешались в бессмысленную

какофонию. Из отдельных слов, которые еще можно было разобрать, обе паствы поняли одно: староверы или, наоборот, синодальные, неизвестно почему не дают им пройти.

Все они, конечно, были грешники из грешников, на большинстве и клейма некуда было ставить, но сегодня и во время литургии, когда они с такой верой слушали слова о милости и любви к ближнему, и теперь, когда они шли, мирно распевая тропари, славя, кто как умел, Рождество Спасителя, они были словно младенцы, чисты и невинны. Правота – страшная сила. Не зная сейчас за собой ничего плохого, люди озлобились. Решив, что кто-то пытается помешать им быть хорошими, они лишь укрепились, изготовились стоять до конца, только бы не уступить. Началось форменное побоище, итог его был печален.

Первыми, вдавленными друг в друга, как мученики погибли оба священника – отец Георгий и отец Досифей. Кроме них, полиция доложила о еще двадцати двух трупах, пятнадцать из которых были насмерть затоптаны, а семеро, будто на вертел, нанизаны на наконечники могильных оград. По словам староверов, после этой истории, в которой никто никому не хотел зла, и началась смута. Встала Русь на Русь.

Сказание старообрядцев я привожу столь подробно, в частности, потому, что схожие мысли однажды услышал и в проповеди снегиревского батюшки отца Никодима. Как-то заговорив о вражде христиан между собой, он вдруг резко перешел к нашей Гражданской войне и заявил, что она никому в укор поставлена быть не может. Те, кто в ней убивал, и те, кто погибли, каждый на свой лад хотели спасения человеческого рода. И вот они, исполнившись верой, как и положено, под водительством пророков и пастырей, шли к раю – неважно, небесному или земному. Они не думали ни о чем плохом, просто шли, шли, вдруг видят, что кто-то встал у них на пути и дальше не пропускает. Первое, что приходило в голову любому, – это не просто так, после стольких унижений, горя, крови путь им преграждают не люди – само зло. За три года мировая война всякого убедила, что пушки сильнее молитв, и теперь, не ведая, что творят, с саблями наголо или, примкнув к винтовкам штыки, они бросались на врага и гибли, не сомневаясь, что гибнут за правду. Ошибались они или нет, судить не нам.

Другая причина – история староверов, по-моему, хорошее введение для цикла преданий об энцком апостоле Павле – Евлампии Христофоровиче Перегудове, которые я собирал почти двадцать лет. Судьба этого человека во всех смыслах замечательна. То, что мы сейчас о нем знаем, особенно до начала Гражданской войны, безусловно достоверно. Легендарного в сказаниях о Перегудове крохи. Наверное, я бы продолжал им заниматься, но во второй половине восьмидесятых годов экспедиции на Север ездить перестали и мои прежние занятия, в числе их и энцы, сами собой отошли на второй план, позже и вовсе забросились.

Еще раньше подряд, как по календарю, раз в четыре года последовали смерти: отца Никодима, Сережи, Дуси. Хотя отношения с ними тогда уже не играли для меня прежней роли, всё равно, кроме матери с отцом и сестры, ближе их никого не было. Однако речь не о нас и наших отношениях, а о вещах, которые ни Дуся, ни отец Никодим, ни Сережа, сколько ни старались, никогда не могли обойти, просто спокойно миновать. Будто иллюстраторы староверческого предания, они напарывались на них раз за разом.

Первая из услышанных мной версий Перегудовского жития отличалась отрывистостью. Было лишь ясно, что это беглый солдат, к энцам он попал примерно в 1863 году – как все малые народы, они охотно принимали чужаков, – и тогда же обратил их в Христову веру. Подозреваю, что собственная судьба мало его интересовала, и поначалу никому рассказывать о ней он не собирался, но потом ряд обстоятельств вынудил его к большей откровенности. Десять лет совместных кочевков по тундре в Перегудове многое поменяли. В нем, простом солдате, волею судеб ставшем апостолом целого народа, шла серьезная работа, и довольно рано он столкнулся с тем, что без прошлого своей пастве он ничего не объяснит.

Энцами он почитался пророком, не послушаться его было немыслимо, однако чтобы принять то, чему он учил, племени понадобилось немало времени. В отличие от прежних, его проповеди первой половины семидесятых годов давались самодийцам с большим трудом. Проходил год за годом, но ничего, кроме кошунства и глумления над Божьим посланником, человеком, принесшим им истинную веру, они в них не видели. И неважно, что святотатствовал он над самим собой. Когда же энцы наконец поняли, что Перегудов хочет сказать, они сделали совсем не те выводы, на какие он рассчитывал.

Слова Перегудова, даже не соглашаясь с ним, самодийцы до последних лет сохраняли с большой тщательностью. Они верили, что ничего лишнего, неважного в его рассказах нет и быть не может. Подобно иконе, где цвет, диспозиция и одеяния фигур, лица, руки, то, откуда падает свет, – каждая деталь в них неслучайна и полна смысла. Если сейчас суть чего-то им неясна, значит, для этого просто не пришло время. Рано или поздно оно, однако, придет. Учтивая, что собственной письменности ни у одного из самодийских народов не было, русский поначалу они тоже не знали, и проповеди Перегудова почти пятьдесят лет передавались единственным способом – из уст в уста; то, в каком виде они до нас дошли, – чудо.

Почему я убежден, что ничего не забыто? В этнографии редкость из редкостей, когда мифы, сравнив с другими источниками, можно проверить. В двадцатые годы «Общество старых политкаторжан и ссыльных поселенцев» выпустило несколько книг, одним из главных героев которых был именно Перегудов. Свидетельства революционеров, проживших вместе с ним по двадцать-тридцать лет, некоторые и больше – калька с энцских преданий. Иногда ощущение, будто они просто списывают друг у друга.

Участие Перегудова в русской революции – отдельная повесть. Началось оно во второй половине восьмидесятых годов при следующих обстоятельствах. Через год после того, как самодийцы приняли к себе Перегудова, по низовьям Лены прокатилась жестокая эпидемия прежде неведомой у них моровой язвы. Пришла она откуда-то с Индигирки, от тунгусов. Энцы, особенно дети, болели очень тяжело, вдобавок с кучей осложнений. В итоге болезнь унесла девяносто жизней, и умерли почти сплошь мальчики. В семидесятые годы та болезнь аукнулась во второй раз – в новом поколении у племени не хватало половины мужчин. Некому было пасти оленей, охотиться, ловить рыбу, а главное – зачинать детей. Высшая сила может помочь человеку в любой беде. Окрещенные Перегудовым энцы молили о мужьях, как евреи в Святой земле – о зимних дождях, и были услышаны Господом.

Примерно тогда же в Якутию на каторжные работы и в ссылку Александр III отправил сотни революционеров – на три четверти народников, однако попадались и социал-демократы, и бундовцы. В общем, на любой вкус. Многие из них, причем не раз, пытались бежать. Южный путь – обратно на запад, или на восток, в Америку, а уж оттуда – в Европу, властями был перекрыт, и революционные партии одна за другой решили попробовать северный вариант. В середине девяностых годов он был признан неудачным, но за прошедшие восемь лет Перегудов успел принять и спасти пятьдесят пять человек. Несмотря на посулы, требования, угрозы, никто из них выдан не был. Впрочем, и выбраться отсюда тоже ни у кого не получилось. Постепенно с этим смирившись, народники переженились на самодийках, завели семьи, нарожали детей и назад потянулись лишь после революции, году примерно в девятнадцатом, не раньше. Уехало хорошо если половина, остальные так и остались пасти оленей по берегам Лены.

В той части, где собранное в Тикси и в стойбищах мало отличается от давно опубликованного, я постараюсь пересказать самодийские предания по возможности кратко. Другая причина краткости: от всей своей, в сущности, жизни, как Перегудов рассказывал ее энцам, он оставил лишь историю заурядного душегуба. Остальное известно либо случайно, либо по недоразумению. Назначение многих деталей простое. Перегудов знал, что без мелочей, винье-

ток, прочих финтифлюшек убедить энцев он ни в чем не сумеет, а ему было необходимо то же доверие, что и когда он проповедовал Спасителя.

Из приговора Самохинского уездного суда от 12 января 1850 года, который я нашел в Пермском областном архиве, следует, что Перегудов Евлампий Христофорович происходил из семьи обедневшего попа, который из-за пьянства и нерадения остался без места и снова впрягся в тягло. Третий ребенок в семье, он был окрещен в селе Солотцы того же уезда восемнадцатью годами ранее, то есть 20 сентября 1832 года по старому стилю. Та же дата повторяется и в его наградных делах. Солотцы прежде были довольно большим селом, здесь жили крестьяне, работавшие на расположенном по соседству чугунолитейном заводе, третьем из построенных Демидовым.

Сюда их перевели из разных деревень Ярославской губернии еще в царствование императора Петра I, но через сто лет богатая руда кончилась, и завод вместе с шахтой закрыли, после чего половина народа уехала – в основном в Первоуральск и Нижний Тагил. Те, кто остался, по большей части кормились лесом, валили и сплавляли по Каме сосну, лиственницу, ель. Земля была бедная, сплошь суглинок, зима полгода, и одним хлебопашеством прожить не получалось. Работать приходилось много, что, по словам Евлампия Христофоровича, ему очень не нравилось. В шестнадцать лет на ярмарке в соседнем селе цыганка нагадала Перегудову, что в жизни он порешит девять человек, причем убьет их легко, безо всякого сожаления, будто кур зарежет.

Недалеко от Солотцов пролегал старинный тракт, дорога из Вятки на Пермь. И вот уже два года здесь было беспокойно. Купцов, других проезжих людей грабили, случалось и убивали. Поговаривали, что орудует целая шайка, а атаманом у нее бежавший с уральских рудников каторжник. Несмотря на строгие предписания из Перми, ловили разбойников вяло. То ли те, не будь дураки, подкармливали местные власти, то ли эта задача полиции просто была не под силу. Вокруг шли бесконечные леса, спрятаться, отсидеться в них ничего не стоило.

У Перегудова уже была зазноба, разбитная солдатка Катя – баба красивая и молодая. Катя и свела его с лихими людьми. К тому времени Перегудов давно подумывал о воровской жизни, надоело за похлебку горбатиться с утра до ночи. Правда, в одиночку искать воровское лежбище он побаивался, не знал, примут его или просто сунут меж ребер перо. Парень был здоровый, что называется, косая сажень, и стрелял неплохо, однако всё равно трусил.

Через полгода разбойники напали на обоз, в котором из Перми ехали двое купцов и гвардейский поручик, потом оказалось, что курьер. Военный отчаянно защищался, и убил его как раз Перегудов, за два месяца до того присоединившийся к банде. Курьер был его второй жертвой из девяти, предсказанных цыганкой. Месяцем раньше, чтобы показать старым кандальным, что для него пролить человеческую кровь, принять на себя смертный грех не страшнее, чем опрокинуть стопку водки, он зарезал ножом первого встречного – несчастного коробейника.

Сначала, рассказывал энцам Перегудов, на предсказание цыганки он и внимания не обратил. Думал, погуляет, пока молодой, дальше мать приищет ему хорошую невесту, и всё образуется, вернется на круги своя. Даже коробейника он себе простил и курьера, а что пути назад нет, понял, лишь убив Катю.

У них была тогда плохая полоса, и он приревновал ее с пьяных глаз. Озлобился, что она не хочет с ним лечь, и, крича, что именно от Катки их неудачи, именно она доносит исправнику, на глазах у всего общества, как цыпленку, свернул ей шею. Опомнился, только когда затихла, и, будто не видя, что она мертва, что ей ничем уже не поможешь, долго пытался вернуть Катю с того света, снова вдохнуть в нее жизнь. После этого, говорил Перегудов энцам, он просто бежал, куда угодно, лишь бы спастись от нового душегубства. Но чем дальше уходил, тем больше было крови.

Вскоре после смерти Кати они залегли на дно. В лесу у банды был большой, теплый, с настоящей печкой и двойным полом сруб. Припасы – порох и свинец, мука, крупы, соль – тоже

были в достатке, остальное можно было добыть охотой, и атаман решил, что, пока на здешнем тракте о них не забудут, высовываться не стоит. Но сам первый и не выдержал. Затосковав, время от времени он то один, то с кем-нибудь на пару стал наведываться в придорожный кабак верстах в пяти от их заимки. Правда, вел себя тихо, выпивал чарку и скоро уходил. В этом же кабаке он как-то случайно услышал, что через три дня в Нытве ждут почтовую карету с большими деньгами – акцизными сборами за целый месяц, и, поколебавшись, объявил, что такую добычу упускать грех. Но видно, говорил Перегудов энцам, та полоса неудач, что началась еще при Кате, кончаться не желала. Наводка оказалась верной – деньги в карете действительно были, – но кроме денег в той же карете ехало и три боевых офицера. Четырех человек из банды они убили первым же залпом, а двоих раненых, в числе их и Перегудова, повязав в Глазове, с рук на руки передали полицмейстеру.

Дальше судьбы Перегудова и его подельника разошлись. С Перегудовым что-то тянули, а напарнику в месяц вынесли приговор: он получил двести ударов кнутом, был клеймен и в кандалах отправлен в Нерчинские рудники. По всем законам каторга ждала и Перегудова, но ему открылся фарт. Осенью пятьдесят третьего года в связи с началом Крымской войны был объявлен дополнительный набор рекрутов, и среди прочих жребий пал на старшего сына старосты богатого торгового села в версте от Глазова. Решив во что бы то ни стало отмазать наследника, староста сговорился с мировым судьей. За большие деньги выкупил Перегудова из острога и сдал его в солдаты вместо сына. Так Перегудов попал не на рудники, а в расквартированный близ станицы Привольной драгунский полк. Дальше он почти пять лет провоевал на Кавказе.

В первые годы кочевий с энцами, рассказывая о жизни, Перегудов тех, кого убил на войне, никак из общего ряда не выделял, себя в их смертях не обелял. Говорил, что и тут и там отнимаешь у человека жизнь, но этого права Господь никому не давал, а что за каждого из подстреленных или зарубленных горцев он получал награду, считался одним из героев Кавказской войны – большого значения не имеет. Еще он однажды заметил, что после тяжелого ранения в грудь и года госпиталей, отправленный в отставку, был уверен, что свою норму – те девять человек, что ему нагадала цыганка, он давно выбрал, число смертей даже перекрыто.

Концы с концами здесь не сходились. Уже в Сибири от его руки погиб якутский губернатор фон Стассель. На их собственных глазах был зарезан шаман Ионах. Но Перегудов будто и не считал, что одно к другому нужно подгонять без зазора. Сами же энцы спросить, как получилось, что ему и позже приходилось проливать человеческую кровь, не решались. К войне их учитель вернулся лишь спустя десять лет, и, подобно остальному, то, что он им тогда сказал, запомнили очень хорошо.

Среди прочего в семидесятые годы они слышали от Перегудова, что сколько черкесов им убито на Кавказской войне, никто не знает. Когда с обеих сторон плотная ружейная стрельба, сказать, твоя или не твоя пуля свалила врага, трудно. Очевидно, так же на это смотрит и Господь – при больших сражениях, даже стычках отряд на отряд, смерти Он безо всякого различия делит на равные доли.

Что у Господа может быть другой счет, объяснял энцам Перегудов, он тогда, в пятьдесят пятом году, даже не подозревал. Так, один на один, на Кавказе он убил четырех человек. Первого горца, просидев целые сутки в засаде, снял выстрелом, второго, судя по всему, лазутчика, отправил к праотцам тоже из штуцера, когда бедняга вплавь пытался переправиться через Сулак. А потом произошла история, которая напрочь поменяла перегудовскую жизнь и впоследствии привела его к энцам.

Осенью пятьдесят четвертого года на берегу Сунжи случился тяжелый бой. Горцы провалили их левый фланг, командовавший в этом сражении русскими войсками полковник фон Стассель оказался отрезан и окружен отрядом карачаевцев. Стассель дрался храбро, и всё же, по общему мнению, если бы не Перегудов, плена ему было не миновать. Уже без коня, проравшись сквозь плотный строй врагов, Перегудов одного карачаевца ранил штыком в живот,

затем двух зарубил шашкой, и хоть сам тут же был ранен, командира своего отбил. За сражение при Сунже он получил солдатского Георгия и вне всякой очереди был произведен в унтер-офицеры.

После ранения, после того как почти полгода никто не мог сказать, умрет он или не умрет, вдобавок не раз слыша, как сестры обмолвливались по его поводу, что если Бог даст, драгун и выкарабкается, то останется калекой, он – объяснял Перегудов энцам – на многое стал смотреть по-другому. И не удивительно, что по выходе из госпиталя – долечивался Перегудов в Москве в Екатерининской больнице – он первым делом отправился на богомолье. Сначала к Троице, а уже оттуда с двумя попутчиками пешком пошел в Кирилло-Белозерский монастырь.

С юности любя кочевую бивачную жизнь, он и теперь, будто не было за спиной ни операций, ни ран, за пару дней приновился к дороге, к странничеству, шел легко, с радостью, и молился тоже с радостью. В дороге и на ночлеге ему часто приходило в голову, что вот так бы до конца жизни и идти, никуда не спеша, как придется брести себе и брести от одной святой обители к другой.

Думал он и о постриге, но эта мысль не была прочной, приходила и снова уходила, и в Кириллове он, боясь ошибиться, решил посоветоваться с очень чтимым в монастыре старцем Феодором. Отстоял заутреню, исповедался, а потом пошел в Феодорову келью. Старец был с ним очень ласков, внимателен, долго расспрашивал о жизни, но, прощаясь, сказал, что пока человек колеблется, будто былинка на ветру гнется туда-сюда, уходить из мира он не должен. Господу от его души пользы не будет.

В сентябре пятьдесят седьмого года, вернувшись в Москву, Перегудов нанялся швейцаром в ресторацию на Неглинной. Работа была непыльной и благодаря чаевым довольно доходной. Кроме того, говорил Перегудов энцам, навечно он там оставаться не собирался, отвел себе ровно год, чтобы не торопясь, обстоятельно обдумать всё, что услышал от отца Феодора.

На Неглинной он аккуратно исполнял свои обязанности, в остальное время читал Священное Писание, молился и спал. Кормили его вместе с официантами тем, что на кухне оставалось после ухода гостей, к должности прилагалась каморка под крышей того же доходного дома, где помещался кабак, так что лишний раз выходить на улицу у него не было ни нужды, ни желания. Кроме того, разгульная, пьяная жизнь, которую он наблюдал каждый день, будто намеренно толковала слова Феодора о грехе, гордыне и мирской тщете. К весне Перегудов вполне утвердился в мысли надеть черническое платье и, если бы не страх, что срок не вышел, что отец Феодор опять его завернет, уже тогда поехал бы в Кириллов.

По воспоминаниям, Перегудов рассказывал о своей робости с явным сожалением, печалась. И энцы, понимая, что, прими он в Кириллове постриг, им бы коротать век в язычестве, а после смерти гореть в аду, не стали скрывать, что оскорблены, считают его слова за измену. Оправдываясь, Перегудов добавил, что монахом с проповедью Христа всё равно бы сюда пришел. И снова повторил, что пришел бы раньше, может, на год, а то и на два, потому что путь человека, посвятившего себя Господу, прямее. Но они его объяснения приняли холодно, как простую отговорку, и по обоюдному согласию тема перегудовского пострига больше не поднималась. Тем более что обстоятельства сложились так, что с этой дороги он свернул вполне добровольно.

В конце мая пятьдесят седьмого года в ресторацию к его хозяину, купцу второй гильдии Феофанову, зашел мелкий полицейский чин из управы и стал наводить справки, куда делся прежний швейцар и кто да что новый, которого Феофанов взял на место зимой. Лишние неприятности с полицией никому не нужны, и Феофанов, выставив на стол водку и закуску, стал объяснять, что драгун – герой недавней войны с горцами, за спасение командира получил крест Святого Георгия, потом был ранен, долго лежал в лазарете, а когда вышел в отставку, он, Феофанов, позвал его к себе в ресторацию. Мужик с настоящей военной выправкой, видный, стат-

ный, вдобавок честный – в общем, и клиенты довольны, и ему, Феофанову, ни разу не пришлось пожалеть, что нанял Перегудова.

Едва жандарм, всё записав, ушел, Феофанов немедленно послал за швейцаром. Пересказал разговор и, явно сочувствуя, присовокупил, что коли солдат знает за собой провинности, пусть не тянет, пока дело не уляжется, от греха подальше уезжает. Выслушав хозяина, Перегудов рассудил, что, может, и вправду всплыли его старые пермские подвиги, но принял новость спокойно. Решил, что если арестуют, сочтет это за справедливое воздаяние.

Но бояться Перегудову было нечего: уральское прошлое никто ворошить не собирался. Неожиданно аукнулась совсем другая история – бой на Сунже. Через пять дней с курьером ему был доставлен пакет от барона Стасселя. Полковой командир писал, что сам тоже был ранен, потом долечивался у себя в деревне, и, хотя много раз пытался разыскать своего спасителя, отовсюду приходил ответ: где такой – они не знают. Сейчас, продолжал барон, он пишет не только для того, чтобы сказать, что хорошо помнит, кому он обязан жизнью, но и по делу.

Дальше Стассель сообщал, что месяц назад он высочайшим указом назначен губернатором в Якутск, и, если солдата не держит в Москве ничего неотложного, зовет его с собой. Чем Перегудов станет заниматься в Сибири, они разберутся на месте: захочет, останется в городе, нет – найдется другая работа. Край огромный, богатейший, одна золотодобыча на несколько миллионов рублей, с каждым годом она растет и растет, но тут же страшные злоупотребления, взятки, и ему, Стасселю, без людей, на которых он может положиться, с этим хозяйством не совладать. В заключение барон приписал, что ровно через две недели он остановится в Первостольной и, если драгун решит ехать, будет рад предложить ему место в своей карете.

Конечно, ожидать чего-то, подобного Якутску, было трудно, но, похоже, в Перегудове накопилось в достатке смирения, чтобы принять и каторгу, и монашество, и отъезд в Сибирь. Однако выбор между Стасселем и монастырем был непрост, и он, отпросившись у хозяина, снова поехал в Кириллов. Как и в первый раз, отстоял службу, исповедался, а потом пошел к Феодору. На сей раз святой отец продержал его недолго и слушал с раздражением. Всё же договорить дал и тут же подвел черту, сказал, что если он, Евлампий, сумеет обуздать свое нутро, то в Якутске куда лучше послужит Господу, чем приняв постриг. Больше ничего объяснять не пожелал.

Энцы про встречу с Феодором не раз мне рассказывали и, несмотря ни на что, считали, что монах благословил путь, который в конце концов привел к ним Перегудова. Но сам энцкий апостол, как я понимаю, в старости не мог себе простить, что не остался в Москве. Основания для этого у него были.

В Якутске, хотя Стассель не раз заводил разговор о должности, никакого официального положения Перегудов не занимал, но полномочия у него были большие. Барон доверял ему как себе, и довольно быстро он сделался при нем чем-то вроде чиновника по особым поручениям. Территория губернии была огромна, с лихвой тысяча верст на запад и восток, по полторы на север и юг, и почти половину года Перегудов проводил в разъездах, на месте вникая в то, как идут дела в стойбищах якутов и на золотых приисках.

В перерывах между командировками жизнь была другой – неровной и путаной. То они со Стасселем по неделе, по две гуляли, пили, то, будто опамятававшись, драгун в один день вновь обращался в святошу. Как в Москве, сутки напролет читал Библию и патерик, молился. Барон эти его эскапады уважал, видел в них отличие настоящей русской породы, отчасти даже ими гордился. Так продолжалось два года, а затем Стассель по вызову императора почти на семь месяцев отбыл в Санкт-Петербург. Пока первое лицо отсутствовало, его обязанности должен был выполнять вице-губернатор граф Строганов, но он был человеком безвольным, главное же – удивительно ленивым, и скоро как-то так сложилось, что решение важных вопросов зависит не от него, действительного статского советника, а от обыкновенного унтер-офицера.

Подобная практика не могла не смущать чиновничество и золотопромышленников – радея об интересах казны, Перегудов сильно прижал их еще при Стасселе, но Строганов нарушения порядка вещей будто и не видел. Доносы пошли тогда и в столицу, однако в Петербурге, зная доброе отношение к барону императора, хода им не дали.

Из Петербурга в Якутск Стассель вернулся поздней осенью пятьдесят девятого года. Поездка оказалась во всех смыслах удачной. Он успешно отчитался о положении дел в губернии, за что был пожалован орденом Святой Анны, но главное – из столицы барон привез молодую прелестную жену, дочь известного купца Баташова. Закоренелый холостяк, теперь с кольцом на безымянном пальце, он гляделся на редкость довольным. К сожалению, этот брак счастья никому не принес. Виной стали отношения губернаторши и Перегудова. В Петербурге от самого Стасселя Баташова сверх всякой меры была наслышана о его кавказском спасителе и уже тогда решила, что муж попустительствует драгуну и слишком на него полагается.

Баташovy были знамениты хваткой и жестким нравом, ту же породу нетрудно было разглядеть и в молодой баронессе. По свидетельству одной из ее подруг, еще в церкви, идя под венец, она знала, что коли судьба во цвете лет забрасывает ее в такую глушь – это Промысел, и она должна оказаться его достойна. Баташова была уверена, что за несколько месяцев успеет во всё вникнуть и во всё разобраться и, если мужу, чтобы хорошо управлять губернией, нужен верный помощник, лучше нее он никого не найдет. Немудрено, что когда на приеме по случаю своего возвращения в Якутск муж подвел к ней Перегудова, тот был встречен подчеркнуто холодно.

Проводить в обществе своего наперсника столько времени, сколько раньше, после женитьбы Стассель, конечно, уже не мог, но важно не это. Баташова – как вода точит камень – при каждом удобном случае настраивала против него мужа, и, когда барон напивался, было видно, что усилия ненапрасны. Чаше и чаще он, пьяный, ни с того ни с сего злобно что-то выговаривал Перегудову, бывало, и просто над ним глумился.

С каждым днем делалось яснее, что чем раньше Перегудов уедет из Якутска, тем для всех будет лучше, но жизнь устоялась, он научился это ценить, и теперь вот так, сразу сняться и ехать бог знает куда ему было нелегко. Кроме того, протрезвев, Стассель, как мог, принимался заглаживать обиду. В общем, Перегудов тянул и тянул, пока не произошла история, после которой ничего поправить было уже нельзя. Прямого отношения Баташова к ней не имела, но уверен, что без нее дело никогда бы не зашло столь далеко.

В Якутске любимым местом и Стасселя, и Перегудова был охотничий домик, поставленный еще прежним губернатором в версте от заставы, на высоком, вдающемся в реку каменном мысе. Здесь они пили, сюда к ним приезжали барышни, и тут же, в зале, все стены которой были увешаны оружием и охотничьими трофеями, чтобы не выйти из формы, фехтовали. Под настроение, когда рапир делалось мало, тренировки продолжали то ли танцы, то ли шуточные поединки на кинжалах. Барон, хоть и командовал вполне сухопутным драгунским полком, в юности три года проучился в морском кадетском корпусе и с кортиком умел управляться не хуже, чем с саблей. Перегудов, с детства не расстававшийся с ножом – теперь его сменил трофейный горский кинжал с рукоятью очень тонкой работы, – своему противнику мало в чем уступал.

В тот раз они фехтовали после большого перерыва, вдобавок в Стасселе не было азарта, и оттого рапира слушалась его плохо. Перегудов, хоть и заметил это, поначалу держался осторожно, лишь затем подстерег момент и ловким пируэтом выбил оружие из его рук. Губернатор был раздосадован, но реваншироваться не захотел, и они перешли в гостиную, где уже был накрыт стол. Сидели довольно долго, пили, вспоминали Кавказ и в конце концов не утерпели – снова вернулись в залу.

Как и раньше, фарта барону не было. Один за другим он пропустил два укола и, решив, что кортиком получится лучше, отбросил рапиру. То же сделал Евлампий, и они, перемежая

медленные, плавные движения резкими выпадами принялись кружить по ковру. Впрочем, по-прежнему без особой страсти. Оба будто отбывали номер, прежде чем вернуться в гостиную и продолжить попойку. И тут Перегудов то ли поскользнулся на навоощенном полу, то ли, зацепив край ковра, свалился прямо под ноги Стасселю. Падая, он, скорее всего, ударился головой и на несколько секунд перестал понимать, где он и что происходит, потому что, увидев занесенный над собой кортик барона, даже не подумал, что это просто эффектная поза, которые Стассель так любил.

Наверное, Евлампий должен был подыграть, изобразить нечто вроде молящей о пощаде жертвы, хотя бы тихо лежать, а он с перепугу вцепился в нависшую над ним руку. Оба были пьяны, устали, и, когда Перегудов стал выламывать ему кисть, в бароне сработал инстинкт. Он был сверху и теперь без дураков всем весом упорно жал на кортик. Довел нож до шеи, даже, окорябав, мазнул острием по коже, только тут Евлампию удалось вывернуть Стасселю запястье.

Ссылаясь на своего апостола, энцы рассказывали, что губернатор был грузен, силен как боров, и Перегудов, хоть и сопротивлялся, до последнего был уверен, что рано или поздно барон его зарежет. Когда удалось отвернуть кортик, от напряжения он не мог пошевелить ни рукой, ни ногой, лежал под Стасселем, будто тюфяк. Что противник напоролся на собственное оружие и теперь мертв, ему и в голову не приходило. Думал, что, пьяный, он просто заснул. Лишь выбравшись из-под барона, понял, что тот не дышит.

Перегудов говорил энцам, что еще долго он сидел на полу рядом с телом и, словно баба, навзрыд плакал. Ему было жалко и Стасселя, и себя, и бессмысленную жизнь, в которой он спас человека, следом несколько лет жил с ним душа в душу, затем какая-то глупость – и теперь один покойник, а другой должен бежать или садиться в тюрьму. Плакал от того, что война прошла зазря, так и не кончила счет тех, кого ему на роду написано было убить, что три года назад он не уехал в Кириллов и не принял постриг. Не мог смириться, что исправить ничего нельзя и никому ничего объяснить тоже нельзя. Во всем этом было слишком много неправильного, какой-то общий порок, но решиться искать его Перегудов не смел, знал, что и дальше не посмеет, и от этого тоже плакал.

Прогоревав несколько часов, он вяло подумал, что, если бы попал на каторгу еще на Урале, крови на его руках было бы меньше. Потом решил было уйти, но и тут с места не тронулся, укрыться было не у кого. Только ближе к ночи Перегудов вспомнил, что на рассвете они с бароном собирались ехать стрелять гусей и прямо рядом с домом, на Лене, к мосткам причалена лодка, где уже лежат ружья, порох, свинец и припасы на несколько дней походной жизни. То есть получалось, что для его, Евлампия, бегства всё подготовлено и даже во времени есть хорошая форя.

К тому, что было в лодке, он добавил немного – заплечный мешок с кавказскими трофеями – бекешей, черкеской, мягкими горскими сапогами и своим главным талисманом – бубном. Туда же сунул купленную в Кириллове Библию, после чего, спустившись к воде, отвязал веревку, оттолкнулся веслом и стал грести в сторону стремнины.

Конечно, рассказывал энцам драгун, он понимал, что далеко уйти вряд ли удастся, но, по-видимому, и после смерти Стасселя кто-то не оставлял его попечением. На больших северных реках часто бывают два ледохода. В тот год на Лене, едва вода очистилась, русло снова забил лед – теперь с притоков, вскрывшихся на неделю-две позже. Перегудов проскочил в это окно, а его преследователям на третьи сутки пути пришлось бросить лодки и пешком по берегу возвращаться обратно.

Всего от Якутска до фактории Тит-Ары в самых низовьях Лены, прямо перед дельтой, Перегудов плыл около месяца. Сначала греб или хотя бы пытался держаться фарватера, а потом, когда сил не осталось, сутки за сутками, почти не двигаясь, в полудреме лежал на дне лодки. Иногда плоскодонку выбрасывало на какую-нибудь отмель или прибрежную косу, но вода везде стояла высокая и, промучившись час или два, ему снова удавалось выйти на стрем-

нину. Счет дням он потерял довольно быстро, а после того как кончилась еда, впал в забытие и дальше уже ничего не помнил.

В энцской семье Оданов рассказывали, что подобрали пришельца на песке, у кромки камышей, он был в бессознательном состоянии, подолгу бредил. Насквозь промокший, промерзший, Перегудов был совсем плох, и они не думали, что он выживет. Но их будущий учитель встал. В конце мая он уже сам мог выйти из чума, а еще через месяц, в день летнего солнцестояния, произошел его знаменитый поединок с энцским шаманом Ионахом.

В отличие от того, что было раньше и пойдет следом, произошедшее в Якутске – реконструкция. Роль моих записей в ней скромна. Убийство Стасселя, несчастный случай, который привел к его смерти – это кому как угодно, – в свое время наделало много шума не только в губернии, но и в остальной России. Дело расследовали лучшие петербургские следователи (материалы полностью сохранились), напечатаны также многочисленные воспоминания о Якутске пятидесятых – шестидесятых годов прошлого века, в них тоже редкая страница обходится без барона. Перегудова и Стасселя помнили еще долго, в частности, в начале XX века были опубликованы интересные записки Баташовой. Всё вышеперечисленное мной использовано, иначе восстановить события в охотничьем домике в ночь с 3 на 4 мая 1863 года было бы трудно.

Сам Перегудов к случившемуся в Якутске возвращался нечасто, еще хуже, что в семидесятые годы, то есть уже при мне, энцы вдруг стали энергично править его рассказы. Любые намеки на вину своего учителя безжалостно ими вымарывались. Тем не менее здесь вопросов немного. Больше тревожит другое: той же жесткой цензуре энцы подвергли и последнее перегудовское убийство, которое произошло прямо на их глазах. В канонической версии, что сложилась при Брежневе, всю вину за смерть шамана Ионаха они твердо, без каких-либо оговорок берут на себя.

Кто бы из энцев ни рассказывал мне о том поединке, в один голос утверждали, что пришелец, едва к ним попав, стал проповедовать Христа. Они, колеблясь, клонясь то туда, то сюда, в конце концов решили проверить, какая вера сильнее, следовательно, истинна, и сравнили Ионаха и Перегудова. Этот извод напрочь вытеснил другой, где первопричиной ссоры называлась жена Ионаха Белка, не устоявшая перед высоким белокурым драгуном. В ранних преданиях (они сохранились у соседей энцев – эвенов) этот мотив подробно обсуждался, но потом сошел на нет.

Решение снять с Перегудова всякую ответственность за смерть Ионаха не было самоцелью, просто оно естественным образом достроило, завершило общее оправдание их спасителя. Было финальным аргументом в растянувшемся почти на век диспуте энцев со своим учителем о добре и зле, о том, кто из нас и для чего избран Господом.

Некоторые из доводов, что высказывали стороны, сейчас, когда прежнее напряжение спало, можно счесть даже забавными. Так, самого Перегудова энцы долго пытались убедить, что и об убитых на Урале казнить тоже не стоит: Господь ему давно их простил. То была законная часть пути, который Бог предназначил пророку, и свернуть с него он не мог.

В Сибири у каторжных есть поверье, что, если у первого из тобой убитых ты не отрезал и не забрал с собой ухо, души загубленных будут являться и мучить тебя, пока жив. И вот теперь, ссылаясь на его собственные слова, энцы говорили Перегудову, что все страдания из-за того, что десять лет назад он не послушался атамана, не отрезал ухо у зарезанного им корабейника. Повторяли учителю, что это не он проливал кровь, не он убивал, и он не прав, когда думает, что именно зло, его зло, принесло энцам истинную веру. То есть в их обращении к Спасителю, в само его основание проник грех, и однажды он энцев погубит.

У прежнего шамана Ионаха на следующий день после камлания каждый раз начинался сильнейший эпилептический припадок. Они знали от него, что с бубном в руках он правит

духами самовластно, будто русский царь своими подданными, что звуки и движения танца как струны пронизывают пространство и устраняют хаос, приводят мир к порядку и спокойствию, к добрым делам и тишине. Но изо дня в день крепко держать упряжь не в силах даже верховный правитель неба Охон, тем более что можно ждать от него, обычного шамана. После камлания он слабеет, делается немощен, и руки выпускают ремни. Начинается смута. В нем тогда, будто зимой во время пурги, всё воет и злобится, несется не зная куда и сбивает с ног.

Внешний мир, объяснял Ионах, огромен, можешь месяц идти день за днем и никого не встретишь. В какую сторону ни посмотри, нет ни конца ни края. Жизнь, словно перекочевки оленьего стада, идет по давно заведенным правилам: все друг от друга зависят, и нет ни особенного добра, ни особенного зла. Такое положение устраивает даже правителя Неба, и он не вмешивается, считает, наверное, что раз какой-то порядок есть, то и ладно – большего требовать трудно. Другое дело, человек. Злыми и добрыми духами он населен плотно, будто русский город, и они, жаловался шаман, в тебя буквально вцепились, считают, что ты их владение, их удел. От этого, да еще от тесноты страшное ожесточение. И вот, когда после камлания он, Ионах, лежит в чуме, не может пошевелить ни рукой, ни ногой, для духов он уже не шаман и не сын Охона, а тлен, прах, простая земля, на которой они и дерутся. Бьются до конца, насмерть, и тот, кто в итоге возьмет верх, вселится в его тело, с доставшейся добычей будет делать что хочет.

Еще энцы говорили Перегудову, что по конвульсиям, по напряжению лицевых мускулов Ионаха, по его припадочным выкрикам и хрипам они могли следить за схваткой и ясно понимали, кто из демонов сейчас одолевает, и тут же от Ионаха снова возвращались к своему учителю. Дальше получалось, что долгие годы злые духи оказывались в нем сильнее, восторг, с которым Перегудов убивал, и слабость, когда уже понимал, что убил, не его – их, а затем усилились добрые. Они-то, как Христос Павла, однажды и привели его в энцское стойбище на берегу Лены.

По мнению энцев, и поединок с Ионахом тоже был схваткой двух темных сил. Обе оказались почти равны, и кто в итоге превозможет, долго было непонятно. Лишь на закате сделалось видно, что их шаман всё слабее, всё безнадежнее бьет в свой бубен, и духи подземного мира, которых он призвал на помощь, чтобы одолеть врага, изнурены, уже не могут его защитить. Еще они говорили, что в той битве перегудовское зло, послушный которому он зарезал девять ни в чем не повинных людей, окончательно истощилось, а добро, которое было в загоне, пряталось, хоронилось по углам, наоборот, окрепло и вышло на свет Божий. Скоро оно вымело из их учителя последние остатки ненависти и жестокости.

Рассказы о том, как спаситель энцев сначала перекамлал, а потом убил шамана Ионаха, считавшегося очень сильным, сохранились и у соседних народов, в частности, у упомянутых выше эвенов. Они отличаются друг от друга, причем иногда решительно, тем важнее детали, на счет которых есть полное единодушие. Так, судя по всему, на схватку с Ионахом Перегудов вышел в трофейном горском одеянии. На ногах – мягкие сапоги, до блеска начищенные оленьим салом, вместо куртки – вышитая золотой нитью черкеска и баранья бекеша на голове. За поясом кинжал с канавкой для крови и рукоятью тонкой работы. В руках у их учителя был тоже горский маленький барабанчик с колокольцами, под ритм которого он на еще не сошедшем льду озера Неро, противостоя Ионаху, танцевал нечто очень похожее на знаменитую лезгинку. Этот танец, легкий, изящный, Перегудов исполнял не просто виртуозно – в его движениях была какая-то завораживающая вкрадчивость, и, когда шаман ногтем случайно порвал свой бубен, энцам стало окончательно ясно, что срок земной жизни Ионаха истек.

В Якутске в двадцатые годы один из местных краеведов записал несколько историй, так или иначе восходящих к убитому губернатору. Почти в каждой перегудовский танец играет главную роль. В частности, благодаря его лезгинкам, Стассель, в те времена еще полковой

командир, выиграл два сражения. На поле боя, будто два богатыря, сходились танцоры – драгун против кого-то из горцев, – и проигравшая сторона отступала, без ропота оставляла позиции.

Всё же схватка оказалась долгой. Лишь к вечеру шаман изнемог, ноги его подкосились, и, повалившись на землю, он начал биться в агонии. Было видно, как изо рта Ионаха вместе с пеной уходят последние капли жизни. Энцы понимали, что он обречен, и ни тогда, ни позже не считали, что Перегудов, словно оленю, от уха к уху перерезавший ему горло, убил шамана, наоборот, хвалили, что сократил его мучения.

Спустя примерно полгода после того, как их учитель, убив Ионаха, взял себе его жену Белку, к энцам пришла моровая язва. Когда люди стали умирать один за другим, Перегудов ушел из чума в тундру и на взгорке посреди болота начал молиться. Он не сомневался, что народ наказан не за свой, а за его грех, и, день и ночь взывая к Господу, просил для невинных милости и снисхождения. К Богу он обращался вслух, и до тех, кто проходил мимо, ветер иногда доносил слова его молитвы.

Он говорил: «Господи, посмотри, я ведь пришелец в этой стране. Несчастный беглец, гонимый и преследуемый, я попал сюда неведомо как и был принят будто родной. Народ, что здесь живет, накормил меня и согрел, дал мне чум, дал собак и оленей, дал сети, чтобы я мог наловить рыбу, и капкан для охоты – а чем я ему отплатил? Я убил Ионаха, их шамана, который был очень силен, и почти тридцать лет, пока он камлал, злые духи болезней обходили энцев стороной, боялись его. Гибли селькупы и нганасаны, ненцы, юкагиры и тунгусы, а энцев словно кто заколдовал. Теперь беда пришла и сюда. От язвы дети мрут, словно мухи, и я ничем не могу им помочь.

Господи, – говорил Перегудов, – конечно, Ты скажешь, что они были язычники и вера их несправедливая, что всё, что делал шаман Ионах, – пыль, тлен; но вспомни: не только посох Моисея, но и посохи жрецов фараона превращались в змей, и пусть Твой змей превозмог, пожрал их, ясно, что и жрецам кто-то сочувствовал – наверное, этого хватало, чтобы отгонять болезни.

Господи, – говорил Перегудов, – сейчас, когда энцы уже обращены в истинную веру, идут к Твоему престолу, прошу, молю Тебя об одном: встань за мной, как когда-то Ты встал за Моисеем, и помоги прогнать моровую язву. Помоги остановить болезнь. Иначе на свете не будет целого народа, который в Тебя уверовал, и месяца не пройдет, а он весь вымрет».

Так он молился день за днем, пока хворь наконец не улеглась. Четверть детей энцев отошла в мир иной, но остальных мор не тронул. Еще во время нескончаемых молитв Господу в Перегудове возникло убеждение, что моровая язва поразила народ не только из-за Белки, беда в том, что путь, которым шла к ним Благая весть, оказался насквозь греховен. Иначе и быть не могло, если ее принес душегуб, который, идя сюда, в их стойбища, будто верстовыми столбами, трупами огородил дорогу. Этот взгляд на себя Перегудов ни от кого не скрыл. День за днем он повторял энцам, что он убийца, и ни разу не дал им возможности забыть о своем прошлом.

Предыдущие – XVII и XVIII – столетия от Рождества Христова были для энцев периодом грандиозных битв. Они верили, что в трех сражениях с русскими – каждый раз энцы поднимались всем племенем – отстояли свои земли по берегам Лены на десятки дней пути и на запад, и на восток. Об этих войнах – с обеих сторон в них погибло пять человек и тринадцать было ранено – о героях и богатырях, чтобы никто и ничто не было забыто, шаманы сложили гимны и хвалебные песни. Они пелись в юртах у очага, и летом на общем сходе у Ай-Тана, там, где река огибает заточенный, как наконечник копья, каменный мыс.

С тех пор не прошло и полувека. Меньше двух поколений назад они свободно и невозбранно бродили по тундре, перегоняя с пастбища на пастбище тысячные стада оленей. Они владели, были хозяевами огромных, бескрайних пространств, и так считали все окрест. Они знали, как возник этот мир – солнце, луна и земля с ее реками и лесами, болотами и холодным, почти всегда покрытым льдом морем. Им было открыто, кто сотворил их самих и кто населил

реки – рыбой, леса – зверем, а по болотам пустил пастись оленей, диких и тех, которых они привадили и приручили.

С верховным богом – Охоном – могучим и всевластным, мудрым и снисходительным, с Охоном – своим отцом, в доброте сердца отдавшим энцам землю в вечное пользование, их связывало не только родство, вера, но и очень сложные отношения. Было много непонимания, обид, но и бездна любви, бездна прощения и доверия. И вдруг они узнают, что всё это не более чем красивая сказка. Никакого Охона нет и никогда не было, и они не избранный его народ, а мелкие, жалкие дикари, слабые, ущербные людишки, будто дети, беспомощные перед любым злом. И словно тех же детей, их с необыкновенной легкостью могут убить, а могут из милости или играясь пока оставить жить.

Перегудов понимал, как им тяжело, и, пытаясь заполнить пустоту, спасти энцев от одиночества, перевел для них Бытие, Евангелие от Марка, Десять заповедей и немалое число псалмов и молитв. По воспоминаниям одного из народников, Трапезундова, поначалу речь шла о всём Пятикнижии Моисеевом, а также об откровении Иоанна Богослова, но, ужаснувшись количеству крови, которая была потом пролита, дальше Бытия он не пошел. Перевод был, в общем, канонический. Правда, в перегудовской редакции Библии никто, поя овец, не отваливал камень и не рыл колодцев, и вместо пажитей с сочной травой были богатые ягелем болота. Молитва, обращенная к Всевышнему, отгоняла безжалостных волков, ветер сносил тучи гнуса, и олени – не овцы, – пасясь сытно и спокойно, каждую весну приносили богатый приплод.

Хотя Трапезундов всячески подчеркивает роль перегудовской проповеди, известно, что распространение христианства на Севере началось отнюдь не с него. За первую половину XIX века по этим местам прошло несколько миссионеров, кроме того, казаками и другими пришлыми людьми было похищено около двух тысяч самоедов. С верой, что подобный поступок угоден Господу, их продавали монастырям, а те, окрестив, неволили новообращенных и заставляли на себя работать. Там же, в монастырях, энцам сказали, что на земли, на которых они испокон века пасут своих оленей, на рыбные ловли и охотничьи уголья бабка нынешнего царя Великая Екатерина дала им жалованную грамоту и не собственная храбрость, а лишь доброта Их Величеств, внуков доброй царицы, служит бедному народу защитой. В тисках из насилия и милости они совсем потерялись.

Разумеется, всё это касалось не одних энцев, и Стассель – дело было еще в Якутске – пару раз говорил при Перегудове, что судьба северных народцев – общий грех империи и когда-нибудь за него придется ответить. Впрочем, сам себя успокаивал, объясняя, что помочь самоедам ничем нельзя, как бы ни было сейчас плохо, лучше уже не будет. Таковы законы природы, и власть, даже царская, здесь бессильна. Единственное, что она может, – подстелить соломки.

Перегудова эта тема, в общем, не занимала. В стойбищах якутов он бывал не однажды, и на его взгляд, им жилось не хуже, чем деревенским в его родных краях на Среднем Урале, что же до племен, кочевавших со своими оленями дальше на север, о них ничего определенного он сказать не мог, но думал, что большой разницы нет. Наверное, оттого был потрясен жалким положением энцев и в не меньшей степени тем, как быстро разрушалось последнее, что еще уцелело от их уклада.

Года за три до Перегудова в энцкое стойбище попал и всё лето с ними прожил студент из Петербурга, они знали его лишь по имени – Глеб. Каждый день до конца сентября, когда энцы начали готовиться к перекочевке на зимние пастбища, он, будто пчелка, перебираясь из чума в чум, записывал их легенды и предания, сказки и заговоры, зарисовывал амулеты и орнаменты на одежде. И вот теперь Перегудову казалось, что энцы спиваются и один за другим уходят из жизни не потому, что оказались в незнакомом, чужом мире, не умеют к нему приноровиться, и не потому, что история их народа в этом мире больше не может быть самостоятельной, – главное, они просто ни для чего не нужны. Всё, что было необходимо помнить, во что бы то

ни стало сохранить и передать детям, непонятным образом – буквами – записано и уже не пропадет, останется, даже если на свете не будет ни одного энца.

Лет тридцать спустя Перегудов, уже старик, говорил одному из народников, землеволюцу Севостьянову, что энцы, какими он их застал, походили на человека, твердо решившего наложить на себя руки. В них было постоянное ожидание, желание конца, стремление подойти к нему вплотную, а потом и перейти черту. Спокойная, почти ласковая готовность к смерти.

Объясняя, почему они легко приняли из его рук Христову веру, Перегудов дважды повторил Севостьянову, что всё дело в том, что, едва попав к энцам, он убил. Убил в народе, где отродясь никто никого не убивал, где даже олени своими рогами бодаются за самку лишь до первой крови, а потом отступают. Так что с самого начала, если он учил их Христу словами, то они его – своей жизнью, и вправду не противясь злу насилием. Они его собственное христианство возвращали, делали, каким оно когда-то и было, но потом свернуло. Кровь для энцев значила так много, что, когда он убил их шамана Ионаха, они подчинились ему по какому-то недоумению. Человек, который считал, что имеет право пролить кровь другого человека, казался им сверхъестественным существом, и они ни в плохом, ни в хорошем не смели ему возражать.

Впрочем, тому же Севостьянову он говорил и вещи более традиционные, в частности, что племя с такой страстью приняло Христову веру потому, что понял: вне Сына Божия спасения для него нет. Кроме того, ему, Перегудову, тогда удалось искусить, соблазнить энцев возможностью вернуться в историю. Они почувствовали, сразу догадались, что в том, что он принес, начало новой судьбы, другой их жизни. И добавил, что раньше ликовал, что сумел убедить их не умирать, а теперь боится, что и новая история не принесет народу ничего хорошего.

Проповедуя веру в Спасителя, Перегудов с первых шагов, а главное, неразрывно с ней, стал объяснять энцам, что они, только что обратившиеся в истинную веру, и есть избранный народ Божий. Убеждать, что им одним дано сохранить веру в истинной полноте и цельности. Окончательно это учение сложилось лишь спустя двадцать лет, сразу после событий середины июня восемьдесят четвертого года. Тогда с юга по Лене на четырех баркасах к энцким становищам приплыла усиленная жандармская команда численностью около семидесяти человек. Она имела приказ любыми средствами привести энцев к покорности, а также изловить бежавших с каторги и из ссылки государственных преступников и наново водворить их на прежние места отбытия наказания.

Еще когда казаки и жандармы только высаживались на берег, Перегудов не скрыл от энцев, что присланные солдаты опытные, хорошо подготовлены, и стал убеждать старейшин вместе с оленями увести племя в болота, в топи и отсидеться там, пока войска не уплывут обратно. В ответ старики заявили, что оленяхи лишь недавно принесли приплод и, послушавшись Перегудова, энцы не только опозорят себя, но и потеряют весь молодежь. Не была принята во внимание даже резолюция политических. Большинство из них считало, что не имеет права ставить на кон жизнь целого народа, и склонялось к сдаче. Однако и им энцы твердо заявили, что ни один из тех, кого они приняли, кому дали приют, выдан властям не будет.

Разведка и подготовка к бою длилась около двух суток, причем Перегудов ни в том, ни в другом прямого участия не принимал. Едва солдаты начали разбивать лагерь, он отошел на холм, с которого когда-то взывал к Господу, моля пожалеть народ, остановить моровую язву, и снова стал просить о заступничестве. Конечно, он хотел, чтобы энцы с помощью Господа обратили врагов вспять, но куда настойчивее молил Всевышнего, чтобы на этот раз дело обошлось без большой крови. Говорил: «На мне столько безвинно загубленных душ; Господи, прошу тебя об одном – сделай, чтобы число их не выросло. Пусть эти дети, которых я привел к истинной вере, как были незапятнанны смертоубийством, так и останутся. Хватит того, что я неизвестно за что зарезал ножом их шамана Ионаха. Пусть, Господи, то насилие будет в народе последним».

Бой между энцами и жандармами начался лишь после длительных переговоров – они, как легко понять, завершились ничем – и столь же долгих рекогносцировок и поисков обеими сторонами удобных позиций. В итоге сражение началось на правом, скалистом берегу реки Котьва, а закончилось, растянувшись на три долгих дня, на берегу самой Лены, когда солдаты, спешно погрузившись в баркасы, отдали швартовы и под восторженные крики энцев и стрельбу в воздух поплыли обратно в направлении Якутска.

Позже в газетах, поддерживающих народников, и в прокламациях «Земли и Воли» этот бой был назван крупнейшим вооруженным выступлением против самодержавия за целое десятилетие. Примерно так же оценил его в своем рапорте министру внутренних дел Сойменову и жандармский начальник капитан Маслов. Маслов был из казаков. Пройдя Польшу, Венгрию и чуть не весь Кавказ, он побывал во многих нешуточных переделках, но и в его донесении отмечено, что временами огонь шел просто ураганный.

Энцы были прирожденные стрелки, с тридцати метров попадали белке в глаз, тем не менее на Котьве не погиб ни один человек, были только легкораненые. Пуля, если кого и задевала, то по касательной, и ни с той, ни с другой стороны ни один не стал калеккой, все выздоровели, у всех всё зажило. В общем, я думаю, Перегудов не зря видел в этом чудо Господне. Считал за знак, свидетельство: то, что он проповедует энцам, Всевышнему угодно.

Первый камень в фундамент учения об энцах как об избранном народе Божьем был заложен почти случайно. У Белки от шамана Ионаха было двое детей: мальчики Огон и Онах шести и восьми лет от роду. Примерно через полгода после смерти шамана – народ уже был окрещен – Белка пожаловалась мужу, что сверстники обижают ребят, дразнят их погаными язычниками. Перегудов и тогда и позже относился к детям Ионаха как к своим собственным, очень их любил, они платили ему тем же. Обеспокоенный, он решил защитить ребят, заодно раз и навсегда так повязать прежнюю жизнь и новую, чтобы не осталось ни трещин, ни зазоров.

В те годы энцы чуть ли не каждый день сходились на поляне у чума эсдека Норова. Здесь они вместе молились, Перегудов объяснял им Священное Писание, читал проповеди; и вот на одном из этих собраний энцы услышали от своего учителя, что шаман Ионах, а следовательно, и его дети – прямые потомки одного из трех волхвов, что, ведомые Вифлеемской звездой, первые пришли к Христу.

Сказанное ни в коей степени не было просто красивым ходом. Еще до сражения на Котьве Перегудова поразило, что в трех войнах с русскими – речь о них уже шла – погибло лишь пять человек, вдвое меньше, чем загубил он один. Всякий раз, когда энцы, согрешив, принимались отмаливать грехи, Перегудов не забывал напомнить об этом Господу. Но и так чаще и чаще он говорил энцам, что волхвы – предки не только Ионаха, но и всего их племени и именно они были истинными учениками Христа. Прийти к Спасителю, едва Дева Мария разрешилась от бремени, им было дано потому, что они не проливали человеческой крови. Потом, когда волхвы поняли, что Христос делается взрослым раньше, чем успеет всех спасти, они решили не оставаться в Палестине и, собравшись, ушли обратно в тундру.

Перегудов убеждал энцев, что они не должны называть его своим пророком, их учитель – сам Христос, со времен Вифлеемской звезды они – Его собственный народ. Повторял, что волхвы единственные, кто сумел в полноте сберечь веру, полученную от Христа, – в прочем мире учение Спасителя породило смуту, кровь, которая и по сию пору льется, как вода. Несомненно, много размышляя о Христе-ребенке, он и энцев почитал за что-то вроде непорочных детей, преемников или даже законную часть иудейских младенцев, снова готовых принять смерть за Спасителя. Там, в Палестине, они бы выросли, стали как все, а здесь, кочуя по болотам, вдалеке от греха, сохранили чистоту. Однажды, говорил он другому эсдеку Тимофееву, Вифлеемская звезда вновь взойдет на небе, и энцы в белых одеждах, с верой и ликованием пойдут за Тем, Кто спасет человеческий род.

Хотя Перегудов безропотно принимал каторжан и ссыльных, не отказал никому, революционным идеям он не сочувствовал. Когда политические объясняли энцам, что в России люди несчастны и бедствуют: у них нет оленей, они не ловят рыбу и не ставят силков на зверя, но одной любовью им не поможешь, добро сопряжено с кровью – так всегда и везде, – слишком упорно зло, Перегудов твердо говорил, что слова эти – ложь, верить им нельзя. С другой стороны, он не скрывал, что беседы с политическими, их чувство вины перед народом, из которого каждый из них вышел, сильно на него повлияли. Но и тут была разница: энцы знали, что он страшится, что принесет им беду, этот крест его мучает, очень тяжел для него. Конечно, Перегудов идеализировал энцев – они и убивали, и воевали. Всё было, как у всех, только смягчено расстоянием и редкостью населения, а при нем – уже и их слабостью.

На взгляд со стороны, энцы довольно легко отделили Перегудова от народников и без колебаний остались со своим учителем. Строго говоря, они приняли всё, что он говорил, согласились с безмерностью его вины. Не стали возражать, когда он объяснял, что, несмотря на язычество и идолопоклонство, они лучше, чище, милосерднее любого, кто хоть раз пролил человеческую кровь, потому что можно всё – только не убивать. Жизнь есть дар Божий, и нет греха страшнее, чем ее отнять. Признали, что единственный путь, идя которым человек способен искупить вину, – это обращенная к Господу молитва.

И всё же, по-видимому, Перегудов где-то ошибся. Он был их учитель, они привыкли слушать его и ему верить, и мне кажется, что это самоумаление, эта бесконечная, растянувшаяся на двадцать лет попытка доказать, что его грех перед Господом несравним со всеми их грехами – неважно, оптом брать или в розницу, – далась энцам чересчур трудно. Немудрено, что в районе восьмидесят пятого года начался откат.

Первое отступление было связано с теми же революционерами. Что бы ни говорил Перегудов, энцам однажды почудилось, что та огромная незатихающая вина, которую они, не расплескав, принесли сюда, на берега Лены, и перегудовские грехи – части одной общей неправоты, и это море зла их захлестнуло. В итоге почти десять лет энцы не сомневались, что разногласия Перегудова и народников чисто тактические, в главном же они согласны и поют в унисон. Правда, во время долгих зимних перекочевков, всё обдумав, соединяя и сводя одно с другим, энцы убедились, в конце концов признали, что обе стороны, хоть и говорят о вине, раскаянии, между собой были и останутся в глухом противоборстве.

Бряд ли это просто совпадение, но в конце восьмидесятых годов (точнее мне выяснить не удалось) энцы по предложению Перегудова на высоком правом берегу Лены, на мысу, прямо над водой решили возвести часовню пресвятой Богородицы. Строить начали в конце ноября, когда озёра уже покрылись толстым слоем льда. Выпиливали аккуратные прямоугольные ледяные глыбы и из них складывали стены. Колонны, которые держали кровлю и свод, были отлиты из того же озерного льда. На расположенной неподалеку фактории энцы покупали старые бочки из-под керосина и, наполнив их водой, давали ей замерзнуть.

Церковка вышла небольшая, но очень праздничная. В ясный солнечный день она сияла так, что на нее больно было смотреть, да и видно было часовню за десяток верст окрест. Освещался храм тем же солнцем: через чистый прозрачный лед свет проходил как сквозь хорошее стекло, а в полярную ночь – лучинами. Во время богослужения их сотнями прикрепляли к стенам, будто свечи.

В храме – по требованию энцев и оправдывая себя тем, что вокруг на много дней пути нет ни одного священника, – Перегудов по примеру беспоповцев служил сам. Он был обычный синодальный православный, вел службу правильным порядком, но, похоже, уже то, что встал за амвон, ни у кого ничего не спрашивая, по собственному почину проповедовал, уча паству уповать только на Господа и на самих себя, сообщило вере энцев какой-то деятельный протестантский характер.

Перегудов хоть и служил с редким благоговением, всё время повторял, что из-за грехов не может быть настоящим пастырем, и это тоже сильно на них повлияло, шаг за шагом убедило энцев, что теперь, когда они обращены в истинную веру, пришел их черед его спасти. И главное, они могут и должны это сделать, коли, как он говорит, вправду чисты и непорочны перед Господом.

Летом, когда энцы, кочуя со стадами оленей, уходили от Лены на сотни верст, солнце и тепло разрушали храм: скорбя по своим прихожанам, он будто плакал, потом, оплыв, как старая баба, в конце концов превращался в рыхлый сероватый ком. Позже многие сочли эти слезы пророческими. Правы они или нет, я не знаю, но слышал, что лето Перегудов звал временем греха и печалей, а осень, когда энцы восстанавливали церквушку, – временем раскаяния и прощения.

Надо сказать, что, всегда помня, что однажды они останутся без него, Перегудов, сколько мог, поддерживал энцкую самостийность. Возможно, поэтому решимость племени ему помочь долго он или не видел, или не обращал на нее внимания. Не понимал, что вводит народ в грех, что скоро всё это исказит учение о Сыне Божьем, займет место в самой сердце-вине веры.

Они много за него молились: молились, когда были свободны и когда работали, но шел год за годом, а облегчения учителю не выходило, наоборот, он казнился больше и больше. Перед революцией старый, слабый человек, он, бывало, плакал, не стесняясь, прямо на людях, и они отчаялись. Видя, как ему плохо, энцы тогда разуверились, что отсюда, с берегов Лены, Господь их слышит, и, подобно тысячам тысяч до них, решили искупить кровь кровью – за жизни, загубленные Перегудовым, отдать свои. Бросив, оставив оленей, чумы, пострадать, пожертвовать собой за всех несчастных, а потом идти в Иерусалим, в Святую Землю и обратиться к Всевышнему уже оттуда.

...В последние годы я всё лучше понимаю Перегудова. Вслед за ним думаю, что суть этой истории в невозможности отделить смерти, что предшествовали обращению энцев, от новой веры. Одно срослось с другим, как в любом человеке желание спастись и первородный грех, который со времен Адама, что ни делай, всегда при тебе. К сожалению, и до большевиков, и позже немногие из энцев послушались его и остановились, отошли в сторону.

Мысль, что одних молитв мало, что молитва без дела мертва и, если они будут сидеть сложа руки, им его не спасти, раз возникнув, больше энцев не оставляла. Произошло то, чего Перегудов так боялся. С того дня, что Господь судил ему присоединиться к племени, Перегудова не покидал страх, что однажды они решат заменить слово делом. В его жизни неделанье было одним с невиновностью, любое же дело, наоборот, замешано на крови, кто бы и на что ни надеялся.

Больной, немощный, он не раз пытался с ними объясниться; говорят, думая их удержать, даже стоял перед народом на коленях, но мало в чем преуспел. Против работала вера в собственную греховность, от которой он был не готов отказаться. В высказываниях Перегудова тех лет – нарастающая печаль, что он, принеся энцам истинную веру, в то же время не в силах отгородить их от окрестной жизни, взрослой и жестокой, ожидание беды и понимание собственной дряхлости, горечь от того, что как бы они его ни любили, помочь им ничем не сумеет.

В восемнадцатом году, уже на смертном одре, Перегудов, собравшись с силами, на несколько часов сделался таким, каким энцы знали его много лет назад. Умирая, он грозил народу, что, если они ввяжутся в то, что сейчас началось в России, он не забудет ни одного, с того света поименно проклянет каждого, а еще раньше проклянет день, когда к ним пришел и стал проповедовать Христа. Но и тут понять его захотели лишь единицы. Большинство признало, что это страх, страх за их будущее, а еще – объяснение в любви, и, едва положив Перегудова в могилу, вновь согласились, что и спасут учителя, чего бы им это ни стоило.

После его смерти в декабре восемнадцатого года энцам пришлось нелегко. Они рассказывали про себя, что не могли найти правду. Будто в пургу, всё плутали и плутали. Хоть и держались друг за дружку, чтобы спасти человека, который принес им Благую весть, хоть и боялись разрыва, сговориться, решить наконец, куда пойдут, не умели. Отчаянно спорили, что есть настоящая Святая земля – их собственные пастбища, Россия, Палестина или никому не ведомый остров Кергелен. Об острове им рассказывал капитан американской шхуны – говорил, что на нем никто и никогда не проливал человеческой крови, и, как в первый день творения, там нет ни горя, ни зла, ни греха.

Справедливости ради надо сказать, что судьба и тех, кто ушел, и тех, кто послушался Перегудова, продолжал кочевать в низовьях Лены, сложилась равно тяжело. В тридцать втором году, когда коллективизация добралась до этих мест, энцы за несколько зим потеряли всех оленей и к началу войны с немцами чуть не поголовно спились.

Во время Гражданской войны и нэпа вслед за политкаторжанами – своими отцами и дедами – на Большую землю перебралась почти треть племени; уходя, они говорили, что как мы – энцы, пытаемся спасти Перегудова, новая власть мечтает спасти весь народ – построить рай прямо здесь, на земле, и будет правильно честно ей помочь. За такую власть, убеждали они соплеменников, не жалко отдать жизнь, а потом одесную Господа вместе с оленями кочевать уже в райской небесной тундре, где нет ни гнуса, ни зимней бескормицы, ни волков. Было несколько волн переселений, наверное, как-то между собой связанных, но то ли люди погибли, то ли просто затерялись, во всяком случае, сам я никого разыскать не сумел.

О тех, кто отправился на Большую землю, и об оставшихся на берегах Лены речь ниже пойдет не раз, а здесь мне хотелось бы пересказать одно очень популярное среди энцев и явно легендарное предание. О том, чтобы уехать куда-нибудь далеко, может быть, и на французский Кергелен, уехать и спастись от того, что надвигается, заговаривал якобы еще Перегудов. И вот в последний год нэпа три семьи сговорились с капитаном американской шхуны «Мэри Холден», последней рискнувшей ради золота и пушнины забраться так далеко на запад. Он заякорил большую льдину и на этом странном ковчеге с помощью ветра и течений два с половиной года тащил энцев и стадо оленей в десять голов до расположенного на другом конце земли, у Антарктиды, острова.

Льдина таяла, команда шхуны почти беспрерывно бунтовала, и капитан в Анкоридже на Аляске и в Маниле на Филиппинах дважды высаживал недовольных и набирал новых матросов. И всё же на Кергелен энцев и пару выживших оленей – самца и важинку – он, сдержав слово, доставил. Теперь олени вновь расплодились и в тишине, и благодати пасутся в тамошней тундре, будто в Земле обетованной. Чтобы не было сомнений, рассказчик добавлял, что воспоминания энцев о прежней родине и о долгом плаванье в Антарктику были записаны и опубликованы во Франции известным этнографом Леоном де Блуа.

Впрочем, насчет американца была немалая разногласица. От нескольких энцев и селькупа тогда я слышал, что он оказался жуликом и авантюристом. Льдина, едва шхуна миновала Берингов пролив, раскололась на несколько частей, все люди и олени утонули. Доказательств ни первой версии, ни второй ни у кого не было и не могло быть, тот или иной извод, как я сейчас понимаю, зависел от одного – было ли у беглецов благословение Перегудова. Если, по мнению рассказчика, да – они благополучно доплыли до Кергелена, если же энцы отплыли вопреки запрету учителя – так или иначе они были обречены.

.....

Июнь и начало июля 1962 года я провел в санаторном отделении больницы имени Кащенко. Вместе со мной там тогда лежал историк Александр Васильевич Фарабин. Его случай был довольно тяжелый. На депрессию – для нее были серьезные основания – наложилась

мания преследования. До больницы, боясь, что его убьют, Фарабин всю осень с одной железнодорожной ветки на другую бегал по поездам и, лишь «оторвавшись от погони», заявился к тетке в Углич. Оттуда его забрали родители. В пятьдесят лет он по-прежнему жил с отцом и матерью.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.